Александр Эбаноидзе

След жизни

Собрание житейского антиквариата

Сорок второй год принес с собой беду: мы получили похоронку. Отец погиб в трагическом керченском десанте, в конце декабря. Наша беда затронула всю родню, всколыхнула все фамильное древо. Пожилая бездетная чета выразила готовность усыновить одного из осиротевших мальчиков, присовокупив, что предпочла бы младшего. Я не помню их имен, но до сих пор помню свое детское негодование, оно все еще слабо искрит во мне.

Но что мое негодование в сравнении с маминым! Представляю, как досталось бездетной чете! Думаю, перепало и тетушке, склонявшейся к обсуждению предложения (скорее всего, это была старшая — рассудительная тетя Маргарита). Бедняжки не знали, как опасно вторгаться в наш бедный, тесный уют. Охваченная гневом, мама шуганула наивных доброхотов и порывисто обняла нас: «Никому не отдам моих мальчиков, моих сыночков! Никому!»

Она и впрямь противилась, как могла, но обстоятельства оказались сильней: не прошло и года, как ей пришлось отвезти меня в деревню на попечение золовки и свекрови, моих тетушки и бабушки.

Так я снова оказался в доме на горе, но на этот раз не розовым несмышленым младенцем, а впечатлительным мальчиком четырех лет.

С грустью и радостью пытаюсь воскресить тот мир, в котором прошли два военных года — 1943 и 1944-й.

Двор

Обширный двор был обнесен частоколом. Рельеф и растительность, изменчивые в пределах двора, делили его на четыре части. За домом на заднем дворе толпились с десяток дубов. Теснота помешала им раскинуться вширь, и они ушли ввысь: статные

Эбаноидзе Александр Луарсабович — прозаик, переводчик. Родился в 1939 году в Тбилиси. Окончил Литературный институт им. А.М.Горького. Автор восьми книг прозы и публицистики. Роман «Два месяца в деревне, или Брак по-имеретински» (1974) переведен на 15 языков, инсценирован и экранизирован у нас в стране и за рубежом. Перевод романа Отара Чиладзе «Годори» (2004) удостоен премии Российского Книжного Союза.

С 1995 по 2017 гг. возглавлял журнал «Дружба народов». Награжден Орденом Чести (Грузия). Живет в Москве.

Фрагменты из книги. Начало публикации: «Дом на горе» («ДН», 2016, № 8).

великаны со стволами в полтора обхвата. Три из них встали над Нижним виноградником, остальные разбрелись по двору и поднялись на пригорок, подступавший к дому. Со стороны оврага к нашим дубам подбирался низкорослый, беспородный лесок — корявые недоросли бука, граба, берез, терновника, перевитые ежевикой, дерезой и можжевельником. Лесок был настолько непролазен, что даже козы не забредали в него. Летом от него жарко пахло сухменем, лесной ягодой и земляникой.

Неподалеку от дома, под дубами притулился кукурузный амбар, безоконный домишко на высоких сваях, обхваченных колкими венчиками, не только украшающими сказочное сооружение, но и обороняющими его содержимое от белок, куниц и хорьков.

С дубами на пригорке соседствовала акациевая роща — больше полусотни деревьев, и все на подбор: стройненькие, изящные, с густой кроной и нежной листвой. Детскому воображению дубняк за домом представлялся бравой дружиной, а акациевая роща — нежным девичьим хороводом.

Двор перед домом был светлей и просторней заднего. Деревьев там росло меньше, и почти все фруктовые. По одну сторону двора от калитки к дому выстроились в ряд четыре высоких черешни, по соседству с ними набирался сил молодой бесплодный орех-холостяк.

По другую сторону зеленели две лужайки. Ближняя к дому была засеяна ухоженным рейграсом, обсажена ирисами и украшена тремя нежными сливами, средняя из которых сочилась прозрачной золотистой смолой.

На дальней лужайке в конце двора некошеная трава зеленела темней и гуще, в ней заплетались ноги, и не больно было падать. Посередь густотравья стояло единственное дерево — большая шелковица с симметрично раздвоенным стволом; когда облетали листья, шелковица превращалась в латинскую литеру V, римский знак победы.

А между лужайками, под столетней липой? стоял круглый цементный стол с тремя скамейками, любимое место семьи и гостей. И не диво: красавица-липа овевала его медовыми запахами, осеняла пчелиным гудом и осыпала высохшим цветом, штопором слетающим с душистой кроны.

Запомнились еще два дерева перед домом, они не отличались ни красотой, ни плодовитостью, но чем-то трогали сердце и будили воображение.

В нескольких шагах от приступки, ведущей на веранду, доживала свой век старая акация. Огрузшая, кряжистая, в морщинах и наростах, она представлялась прабабкой тех, что красовались на пригорке. А над двором, на краю пригорка, одиноко торчал дуб. Высоченный, как и покинутые им собратья за домом, но с посеченными ветвями и поредевшей макушкой, он казался невезучим изгоем. Я с недоумением и сочувствием посматривал на него: что оторвало его от родной ватаги и вытолкнуло вперед?

Таков был наш двор в ту пору, когда мама, удрученная вдовьими заботами, привезла меня в деревню.

Сегодня из всех деревьев нашего двора жива только липа. Время не нанесло ее красоте никакого ущерба; напротив, ствол сделался стройней и выше, а крона соразмерно раскинулась вширь.

Дом

Дом представлял собой традиционную имеретинскую *оду*, разве что просторней обычной.

Главное достоинство *оды* — открытая веранда, профессионал назвал бы ее архитектурной доминантой.

Наша веранда была особенно хороша. Открытую во всю ширь фасада, ее со знанием дела декорировали местные умельцы: резные навершия деревянных колонн и ажурные балясины под перилами придавали ей воздушную легкость.

Насколько легкой и воздушной смотрелась веранда, настолько строгой и сумрачной выглядела зала, обстроенная по периметру анфиладой комнаток. Одна из них, та, что побольше, с камином, в оны годы служила гостиной, остальные были спаленками с продавленными кроватями и громоздкими комодами, на которых тускло поблескивали подслеповатые зеркала, а на выдвижных ящиках болтались беззвучные колокольцы.

Посреди залы с потолка свисала пузатая лампа в разрисованной чаше; из стены против двери выступала тучная спина голландской печки, а в углу, на резном ломберном столике, поблескивала музыкальная шкатулка венского происхождения. Сам ломберный столик раскрывался как книга, обнаруживая столешницу, обтянутую зеленым сукном; присмотревшись, на сукне можно было разглядеть меловые следы карточных игр.

Но не заморские изделия, редкие в наших горах, придавали зале мрачноватую торжественность. Ее выделяли статус и чин. Зала открывалась только по особым поводам. Заходить туда не запрещалось, но не тянуло. В полумраке на стенах поверх ковров висели три больших фотопортрета в черных рамах: немолодая женщина в национальном головном уборе и молодые мужчины с непокрытыми головами. Со временем я узнал, что это мои предки: дед, его сестра и брат, но сходство увидел с первого взгляда.

Женщина по имени Минадора умерла в тридцатых годах, и мне не трудно было представить ее насельницей одной из спаленок, скорее всего, той, где у окна стояла зингеровская машинка с ножным приводом.

Гораздо раньше Минадоры нелепо погиб их младший брат Леонтий: уклоняясь от призыва на Первую мировую, он доверился местному лекарю, пообещавшему вызвать временное недомогание. Недомогание лекарь вызвал, а вылечить от него не смог. На фотографии Леонтий в мягкой косоворотке, открывающей стройную шею. Молодой красавец, баловень семьи, смотрит с укором, смягчающим присущее ему легкомыслие.

Еще в 1910-м эпидемия тифа унесла моего деда Александра. С его фото смотрит в упор смелый вспыльчивый мужчина: выражение лица сочетает ожидание неприятностей и готовность их преодоления. На нем тесный сюртук, крахмальная манишка, галстук-бабочка. Он не похож на деревенского жителя. В нем можно предположить энергичного инженера, требовательного чиновника, строгого учителя, да хоть министра маленькой колониальной страны, борющейся за независимость. Министром он не был, это точно; мельком слышал, что служил на железной дороге: кем? где? Не удосужился уточнить.

Что еще можно разглядеть в доме через семьдесят пять лет?

В столовой над продавленным диванчиком висит апликация, обрамленная ажурной мережкой: между камышей и лилий, поджав ногу, понуро стоит цапля с бархатно-черным хохолком и морковного цвета клювом.

А в комнатке дяди Габриэла со стены скалится лев такой достоверной выразительности, что при взгляде на него каждый раз обмирало сердце. Ковер попал к нам в начале двадцатых, при меньшевиках, когда ненадолго возродились отношения с Персией; верно, оттого так доподлинно в нем все — от папоротника и сухостоя под лапой льва до клыкастого оскала и великолепной гривы.

Дом был тогда еще не старый. Со временем к нему, нарушив план *оды*, приросли две кирпичные пристройки: одна сделалась кухней-столовой с крестьянским камином, в котором висел на цепи закопченный чугунок, и сливом воды в цементном полу; другая так и не нашла себе назначения и превратилась в чулан.

Еще позже, в новые времена, пространство под домом переоборудовали в просторную комнату и санузел. А в пору, которую я пытаюсь воссоздать, подвал представлял собой обширный погреб, заставленный бутылями, штофами, бочонками, с туго свернутыми бурдюками и скрученными шлангами; они были распиханы по

неглубоким нишам, как и набор слесарных инструментов и гвоздей всех размеров: от сапожных, для дамских туфелек, до пыточных, способных выдержать говяжью тушу. В погребе царил холодок, шибающий смачной маринадной смесью, особенно резкой летом, в июльской пекло: стоило приоткрыть створку рассохшейся двери, как сводило ноздри и озноб пробирал до косточек.

В этом доме прошли два года раннего детства, на ту пору треть моей жизни.

Домочадцы

Рядом были тетушка Елена с бабушкой, на чье попечение сдала меня мама, и дядя Габриэл с тетей Мариам. Но им хватало своих хлопот: тетушка с утра шла в школу, за четыре километра, и возвращалась под вечер; дядя Габриэл обихаживал свои виноградники, подступающие к дому и требующие заботы — подрезки, подвязки, прореживания, окучивания, опрыскивания, двух рук не хватало на три виноградника, и тетушка Мариам спешила на помощь, всегда на подхвате: драла лыко, размачивала в воде, разбирала на волокна и, набив карман фартука, шла в междурядья к мужу; между делом она доила корову, заквашивала сыр, кормила поросят и кур, стряпала на скорую руку, не забывая походя одарить меня из своего бездонного кармана фундуком, изюмом или моим любимым сушеным инжиром.

Бабушка, немногословно-строгая, словно окаменевшая в горе, в черном платке и черном сатиновом платье до пят, тоже наведывалась в виноградник с садовыми ножницами и умело, со знанием дела, осматривала лозы. Но больше ее заботил маленький, тщательно выгороженный огородец с игрушечными грядками, которые она окапывала детской мотыжкой, сидя на трехногом табурете, после чего шла в дом и без сил ложилась на тахту, уставясь в потолок страдающим укоризненным взглядом...

Словом, все были при деле, однако я не чувствовал ни скуки, ни одиночества. Мои дни тоже были наполнены. Этим я обязан двум товарищам по играм — Рексу и Нани.

Рекс

Рекса привез в деревню отец, привез незадолго до моего рождения в коробке из-под обуви. Обе эти подробности ужасно нравились мне, особенно коробка из-под обуви. Да и то, что мы ровесники, тоже.

Но человеческое дитя растет медленно. Мой же ровесник к четырем годам вырос в сильного стремительного пса с умной физиономией, зубастой пастью и внимательными карими глазами. Рекс мог в две минуты оббежать весь наш двор с дубняком и рощицей, заглянуть в Нижний виноградник, обследовать Верхний, наведаться в заброшенный сад и, не запыхавшись, предстать перед хозяином. Ко мне он относился со снисходительной заботливостью старшего, однако какая-то часть собачьего сознания признавала мое главенство; думаю, что-то в этом роде испытывали крепостные дядьки к своим малолетним барчукам.

Нам на радость в доме нашелся потертый малиновый мячик: то ли брат Игорь запихал в мой чемоданчик, то ли завалялся с довоенных лет. Мы с Рексом затеяли было футбол, но мячик оказался слишком маленький и шустрый, беготня за ним превратилась в бестолковую возню. Игра обрела смысл, только когда, юркнув у нас между ног, мячик пересек обсаженную ирисами лужайку и с высоты каменной стены, подпиравшей террасу двора, сиганул в виноградник. Подбежав к краю лужайки, мы увидели, как он скакнул по комьям и, подпрыгивая, покатился под гору. С тех пор мы перестали гоняться за мячиком по двору. Выбежав утром из дома, я показывал Рексу малиновую приманку, Рекс включался без промедления, взволнованно поскуливал и перебирал

лапами. Я изо всех сил кидал мяч в виноградник, Рекс тут же срывался с места. Обычно минут через пять он возвращался с находкой в зубах и, помахивая хвостом, клал ее у моих ног. Однако случались неудачи, поиск затягивался, и я отправлялся Рексу на помощь: по каменной лестнице сбегал к винограднику, пробирался к тому месту, где мячик скатился с террасы двора, и нырял между лозами. Вот было время! Пекло солнышко, веял ветерок, шуршали виноградные листья, шелестела кукуруза, лопотали стручки фасоли. Мы с Рексом вдруг сталкивались в междурядьях: он смотрел вопрошающе, как бы приподняв брови, я молча разводил руками.

В самые жаркие дни мой рассудительный друг менял тактику: к полудню, набегавшись, он уже не приносил найденный мячик, а косясь на меня, трусил на пригорок и ложился там на траву под акациями, положив находку между лап. На меня он порыкивал и даже слегка скалил зубы, словно говорил: «Брось, дурень! Не суйся! Лучше передохнем». Я не возражал. Улегшись рядом, клал ноги ему на спину.

Наши игры с Рексом всплывают в памяти размыто, как из тумана, кажется, что я дорисовываю их воображением. Только две картинки отчетливы без изъяна, как качественные фотоснимки. На одной великолепная немецкая овчарка с иссиня-черным загривком и светлым подбрюшьем взвилась в высоком прыжке и тычет мордой малиновый мячик; на другой мы с Рексом сидим на лужайке перед домом, Рекс на две головы выше меня.

Не знаю, почему Рекс всегда жил в моей памяти. А вот соседская девочка Нани появилась неожиданно, с началом этих записок: хорошенькое личико с неизменной улыбкой — выжидающей, хитренькой и глуповатой.

Нани

Нани жила за оврагом, пролегавшим позади нашего двора. Неглубокая балка, бегущая вдоль горы, около нас круто сворачивала в ущелье и разверзалась в пугающий провал с гигантскими валунами на дне. Если б не эта природная аномалия, мы с Нани были бы близкими соседями: мы перекликались, не сильно повышая голос, но попасть друг к другу могли только обходными тропами.

Нани наведывалась часто, случалось, по два раза на дню, однако не сказать, чтобы ее появление радовало меня. Причина была в возрасте: в детстве разница в четыре года заметна еще больше, чем в старости. Нани была вдвое старше меня, к тому же девочка. Ее не увлекали ни футбол, ни поиски мячика на пару с Рексом. Она предпочитала игру в «дочки-матери»: приносила с собой тряпичную куклу Циру, заботливо нянчила ее, а заодно с упорством сварливой жены прививала мне навыки семейной жизни. Цире, естественно, отводилась роль нашей дочки. У дочки была страшненькая мордашка, нарисованная огрызком химического карандаша — перекошенный рот и вытаращенные глазки. Но не внешность Циры отвращала меня от семейной жизни. Наши «дочки-матери» раздражали заземленным бытом и каким-то чрезмерным реализмом. Взвинченно и плаксиво (так разговаривала мать Нани, чей голос порой доносился из-за оврага) Нани шпыняла меня и гнала то на мельницу, то за хворостом, то на родник, а сама тем временем хлопотала у очага: готовила лобио в горшочке, пекла кукурузные лепешки, варила компот из дичков. У нее была самодельная глиняная утварь и найденный где-то эмалированный ковшик. После обеда Нани укладывала Циру спать, прикрыв крошечным лоскутным одеяльцем. Ужас в глазах спящей куклы и ее перекошенный рот заставляли меня переворачивать ее на живот, лицом вниз, но Нани каждый раз возмущалась: «Балда! Ребенок только что покушал! Она же будет пукать».

Эту часть семейных забот я готов был терпеть ради мира в семье, временами даже увлекался отцовством. Но Нани оказалась еще и прирожденной медичкой-фельдшерицей.

Она что ни день купала Циру, мыла ей голову, вычесывала вшей, делала уколы и ставила клизмы. Тут мое терпение иссякало: я ерничал, по-детски грубо бузил, а однажды схватил Циру, уснувшую после санитарной обработки, и запустил в виноградник. Не успел я ужаснуться своему святотатству, как Рекс, крутившийся поблизости, принес куклу и положил у моих ног. При этом его морда внятно выражала сочувствие и мужскую солидарность.

Словом, «дочки-матери» не задались, семейная жизнь не сложилась. И только часы, проведенные за рисованием, сближали нас. Тут я был в своей стихии.

На листках в косую линейку, вырванных из тетради тети Елены, я рисовал войну — комиксы, рожденные фантазией мальчишки: горящие самолеты со свастикой, бухающие танки, кувыркающиеся вверх тормашками взорванные фрицы, красные флаги с пятиконечной звездой. Рисование сопровождалось имитацией взрывов, пулеметных очередей и одиночных выстрелов. Нани расширившимися глазами разглядывала детские каракули и слушала захлебывающийся репортаж. Восьмилетняя девочка, она училась во втором классе, но в болтливости не могла со мной тягаться. От этого увиденное и услышанное вызывало у косноязычной деревенской девчонки простодушный восторг, и к ее неизменной улыбке, которую я так и не разгадал, примешивался оттенок восторженного умиления...

Подобно стоп-кадру с Рексом у меня и от Нани остался на память моментальный снимок: перегнувшись через край ржавой бочки с дождевой водой, Нани пытается извлечь со дна уроненную мной серебряную солонку; тонкие детские ноги беспомощно болтаются в воздухе, куцее платьице едва прикрывает худенькие ягодицы с белой полоской застиранных трусиков. Картинка из коллекции бедолаги Гумберта, непонятно как угодившая в мой деревенский альбом.

Выход за пределы двора

За что я признателен Нани, так это за нарушение табу — выход за пределы частокола, ограждавшего двор. Она вывела меня в ойкумену, освоение которой стало на ближайшие годы содержанием моей жизни. Впоследствии я обследовал весь горный массив, гигантским амфитеатром венчающий Дзирульское ущелье и несущий на себе нашу деревню с лесами, виноградниками, оврагами и безлесными пастбищами на вершине; облазил окрестные горы, поросшие каштаном и дубом, побывал в соседних селах — Цеми, Илеми, Кицхи, Гантиади, Легвани, Шроша... Я нырял в чистые воды двух речек-сестричек Дзирулы и Чхеримелы, сливающихся у красивого моста, видимого из нашего дома; изучил даже невзрачный, трущобный поселок над станцией, с его затруханной почтой, пахнущей пылью, сургучом и клейстером, нищим сельпо, пахнущим дегтем, пенькой и крестьянским потом, с пещерно-мрачной электрической мельницей, пропахшей мышами и размолотой кукурузой, с бедным клубом и убогой общагой, напитанной духом жареной трески, непростиранного белья и зря пролитой спермы, и белеными известкой парикмахерскими, разящими тройным одеколоном и махрой. Почему-то я сторонился ветпункта и амбулатории, хотя не знал их назначения, и обходил продымленный дочерна кирпичный заводец с анемичными транспарантами и линялым портретом Сталина. В двенадцать-тринадцать лет, прячась от вооруженных ЧОНовцев, я спускался на дребезжащих вдоль ущелья товарняках до Зестафони и поднимался до Харагаули. Моя ойкумена день ото дня расширялась.

Но к первому шагу меня подтолкнула Нани — за руку вывела со двора, и первые территории, соразмерные моему малолетству, запечатлелись ярче увиденных впоследствии.

Наш сад

По совести, даже в четыре года сад не был такой уж далекой землей. Он начинался в конце двора, по другую сторону проселочной дороги, однако был так обширен, что противоположным краем выходил к каштановому лесу, их разделяла широкая кремнистая тропа, по которой гнали в гору деревенское стадо.

На площади в полгектара росло всего шесть или семь фруктовых деревьев, да упрямо плодоносил живучий орешник. По-над проселком маялся от заброшенности сиротливый огородец — фасоль с хилыми стручками, кукуруза без початков, две-три тыковки. Тут же покачивались на высоких стеблях малокровные бледные розы. (При разделе земли после смерти деда сад отошел бабушке, думаю, этим и объяснялась его скудость и неухоженность.)

В дальней части сада, за орешником, громоздилась груда камней. Свезенные отцом для закладки дома, они так и остались лежать там, зарастая терновником и превращаясь в безмолвный укор моей непрактичности. Поодаль от отцовского кургана взмывал в гору крутосклон, называемый в семье «надел Маргариты», отгороженный от верхнего виноградника высоким плетнем. Плетень так густо зарос ежевикой, что совсем не был виден, а крутосклон и виноградник наперегонки подбирались к деревенскому кладбищу, обозначенному купами больших деревьев. Где-то здесь я учуял запах, остановивший меня на бегу и запомнившийся на всю жизнь.

Ежевичный холм

Кремнистая тропа отделяла сад от большого леса. Достигнув нашего крутосклона, тропа отклонялась влево и, продравшись сквозь чапыжник, удивленно останавливалась: у нее на пути, между лесом и кладбищем круглился холм. Эка невидаль в холмистой Имеретии! Но этот холм был так округло лобаст, что его идеальная геометрическая форма рождала недоумение — кто это сделал? и зачем? Холм выпирал из земли как полушарие огромного глобуса. Можно было подумать, что кто-то (уж не инопланетяне ли?) оборудовал под его покровом научный центр, оснащенный космической техникой. На гладкой округлости ни деревца, ни куста, только ежевичные плети да пробившиеся тут и там хилые пучки травы. Живности никакой — ни кузнечиков, ни ящерок, даже заблудшего муравья не припомню. Здесь не порхали бабочки, не зависали стрекозы. Казалось, и птицы, на все голоса заливающиеся по другую сторону балки в гуще деревенского кладбища, облетали стороной лобастый холм.

Странное место. Загадочно безлюдное. Но не мертвое. Напротив, холм был полон угрюмой силы, выпирал из земли как угроза, как предостережение. От чего предостерегал он? чем грозил? Я не понимал этого четырехлетним малышом, не понимаю и сейчас. Но только так могу хотя бы отчасти выразить то, что заставляло меня настороженно примолкнуть всякий раз, когда я оказывался здесь. Впрочем, это не мешало мне лакомиться подсохшей на солнце перезревшей ежевикой, стлавшейся по округлости холма.

Земляничная поляна

Место, играючи одолевшее мою детскую робость, — земляничная поляна: ложбина, согретая солнцем и пахнущая земляникой и разнотравьем. Насколько угрюмо выпирал из земли ежевичный холм, настолько приветливо прогибалась и ластилась земляничная поляна. Ее изумрудный покров пестрел луговыми цветочками:

лютики, васильки, незабудки, колокольчики... Вымахавшие среди них ромашки и одуванчики казались дылдами в малышовых яслях. С тех пор во мне живет нежность к беззащитной прелести луговых цветов, хотя ощутить ее с детской непосредственностью впоследствии не удавалось. Четырехлетний малыш видит лютики и незабудки не так, как взрослый мужчина, а гораздо подробней, почти вровень с их младенчески доверчивой чистотой, буквально лицом к лицу.

Так глаза в глаза я видел и муравьев, и хлопотливую живность, копошившуюся в ней. Чего не сыскать было на ежевичном холме, в изобилии водилось здесь: жучки, букашки, муравьишки, кузнечики и козявки разных мастей и видов.

Но пуще них меня занимали большие мохнатые гусеницы, ярко-голубые, словно обсыпанные бирюзовой крошкой. Я достаточно изучил их, чтобы увидеть сливочно-желтые складки, приоткрывавшиеся в движении, а их маленькие головки оказались похожи на головы крошечных носорогов с губастым ртом, малюсеньким рогом над ним и антрацитно блестящими глазками.

Бирюзовые гусеницы представляли собой на земляничной поляне большую редкость. Реже них появлялись только божьи коровки. Этих невозможно было ни отыскать, ни поймать, они объявлялись сами: вдруг обнаруживались где-нибудь на запястье, как капелька крови, проступившая у основания большого пальца. Чуть щекоча пушок на руке, капелька двигалась вверх по руке и надолго замирала. От своей подруги по играм я узнал, что божья коровка вхожа в дом Господа — за незлобивость и кротость, а кому повезет увидеть ее взлет, того Бог одарит богатством и счастьем. С глуповато-счастливой улыбкой на лице Нани раз десять подряд шептала заклинание, побуждающее божью коровку к полету, благодаря чему я запомнил его наизусть. С тех пор я не раз наблюдал безмолвный старт крошечного жучка и не исключаю, что именно ему обязан своей везучестью в молодые годы. Шепча заклинания, я наблюдал, как твердая красная капелька выпускала из-под панциря прозрачные крылышки, точнее, превращала в крылышки свой пунцовый панцирь, и начинала трепетать ими с такой частотой, что оборачивалась матовым шариком размером с горошинку. Не издав ни звука и не потревожив ни волоска, божья коровка устремлялась в небо, к своему хозяину.

Кого не надо было побуждать к полету, так это бабочек. Они сами слетались на земляничную поляну и начинали легкий сумбурный танец: порхали, играли в пятнашки, задирались, садились на траву и взлетали на кусты; вдруг исчезали, слепив крылышки за спиной, или прикидывались цветком на колеблющемся колоске, легкие, бездумные, фривольные. Порой, оставив на поляне пару-другую неофитов, вдруг исчезали вовсе, брали паузу — перевести дух — и возвращались поодиночке, смущенные и рассеянные; легкомысленная, богемная труппа, баловни публики. Не берусь назвать поименно ни солисток, ни кордебалет, но несомненно там были махаоны и капустницы, траурницы и адмиралы, супруги и прелюбодейки — белые, желтые, салатовые, голубые, терракотово-красные, бархатно-черные с пунцовой оторочкой и аспидно-черные с оранжевыми глазками, маленькие, как почтовые марки, и большие, как купюры экзотических стран.

На ежевичный холм мы с Нани взбирались настороженно и ненадолго, поклевать ежевики и убежать, а на земляничной поляне играли часами, кувыркались в траве, собирали цветочки, бегали за бабочками, накрывали горстью кузнечиков, при этом на каждом шагу соблазняясь душистой земляникой.

Прекрасное деревенское кладбище

А между холмом и поляной колыхались купы старых деревьев. В их тени лежало деревенское кладбище, с трех сторон охваченное ухоженным виноградником.

Дорога к кладбищу ответвлялась от проселочной, развилка была близ земляничной поляны. Эта дорога тянулась ровно и чинно, робко зарастая с краев клевером.

По правую сторону ее ограничивала каменная стена грубой кладки, подпиравшая террасу виноградника; по левую — высокий плетень, увитый плющом и повиликой. Так между двух преград печальная эта дорога подступала к кладбищу и мягким впускающим жестом вводила в его пределы.

Посередине, на взгорке, стояла церковь. Сколоченная из каштановых досок и крытая местной черепицей, она была соразмерна кладбищу. Ее стены, изначально выкрашенные аквамариновой краской, выцвели, а черепица на крыше потемнела от мха. Под навесом кровли и водостоками синева стен сохранилась. В подвижной тени и зыбких бликах солнца сине-голубая церковь казалась видением в романтических дебрях. Только в пасмурные дни, избавившись от подвижной ряби, она обретала четкость. Тогда было видно, что с одного боку к ее выступу притулился огромный кувшин-амфора, наполовину врытый в землю: блудный сын у колен любящего отца. В кувшине разводили раствор медного купороса (для опрыскивания виноградника), и его бока и брюхо были в бирюзовых подтеках.

Рассеянный сумрак деревьев создавал впечатление, что ты на дне водоема, пронизанного солнцем, или в огромном разрушенном храме. То тут то там яркие лучи пробивали листву и, пресекшись, вспыхивали в другом месте. Световая игра сопровождалась перекличкой птиц, звучащей радостно и удивленно. Кроны деревьев до того перепутались ветвями, что со старой осины сыпался липовый цвет, береза роняла желуди, а в листве вяза глазком павлиньего хвоста вспыхивали цветы мимозы. И ни одного каштана. Почему-то на нашем кладбище, окруженном каштановыми лесами, не росли каштаны.

Особняком держалась пара надменных кипарисов, да порознь печалились две сосны. Одна нашенская, простецкая, зато другая оказалась ливанским кедром. Его ствол пустил из себя пять мощных ветвей, придавших дереву сходство с гигантским канделябром. Ствол истекал душной горькой смолой, местами затвердевшей, как спекшаяся кровь. А пять ветвей, превративших дерево в зеленый пятисвечник, сплошь увили мелкие, как гвоздики, белые розы.

Но не чужедальние розы и кедр удивляли на нашем кладбище, а родные дуб и липа. Деревья такой красоты и мощи — редчайшая редкость! Все, что росло вблизи них, казалось подлеском. Филемон и Бавкида! В греческих преданиях есть миф о вечных супругах, превращенных в божественные деревья. Эллины знали, кому отвести эту роль. Удивительно другое: как Филемон и Бавкида попали на наше кладбище? Их благодатной тени хватало всем — в те годы никого не хоронили на солнцепеке.

Я увидел наше кладбище в его лучшую пору. Оно было не старое и потому небольшое. Райские кущи! В густой тени на зеленом пригорке лежало с полсотни каменных надгробий, высилось три мрачных саркофага да ржавели пяток крестов, сваренных из алюминиевых трубок и посеребренных нестойкой краской, один из крестов нежно обвила повитель.

На большинстве надгробий были высечены овцы и рыбы и начертаны кресты; на некоторых выпирали странные каменные наросты с отверстиями, смахивающими на окуляры, заглядывать в них было жутко. Кое-где попадались детские могилки с надгробиями, похожими на ларец, а то и шкатулку, они заросли мхом так густо, что слились с рельефом. И нигде никаких дат, ни рождения, ни смерти.

Над райскими кущами перепархивали птицы, а землю заполонили жучки кирпичного цвета, с крестом и глазками на спине. Нани, со своей невнятной улыбкой, сообщила мне, что это воинство смерти, однако вид у них был вполне безобидный, я часто развлекался, подставляя им то прутик, то стебель травы; дойдя до его конца, они терялись, тыкались в разные стороны и неохотно перебирались на мои пальцы. Я тут же стряхивал их, хотя мне не было страшно.

На кладбище не было ничего страшного. Только одно надгробие пугало меня. Шагах в пяти от паперти лежал могильный камень, превосходящий размерами все

остальные. Синеватый, гладкий, не украшенный никакими рельефами, он был чуть стесан по краям, мощный в плечах, сужался к ногам и заметно кренился набок.

Мне казалось, что этим камнем придавлен могучий богатырь, убитый коварными заговорщиками: он много раз порывался встать, чтобы расквитаться с ними, но не в силах сдвинуть плиту, лишь слегка накренил ее.

На этот камень я ни разу не присел. Сколько помню, на нем никто никогда не сидел. Чью могилу он прикрывал? Кто покоился под ним? На плитах не было не только дат, не было ни имен, ни эпитафий. Silentium.

Поодаль от могилы богатыря ливанский кедр укрывал своей тенью самое нежное и красивое захоронение нашего кладбища. Тесный дворик, огражденный стальной сеткой, переполняли гортензии. В глубине дворика, в правом углу, между лилово-голубых соцветий белела мраморная стела с овальной фотографией, лицо красавицы с длинными распущенными волосами, похожей на звезд немого кино, то выглядывало из цветов, то опять скрывалось.

Ветер колебал гортензии, скрывающие красавицу, но каким ветром ее занесло к нам на деревенское кладбище? И кто ухаживал за печальным двориком, запертым на замок?

История нашей церкви

В нашей округе немало старых церквей. За горой, в Верхней Цеве, стоит каменный храм XII века. Декорирован он скромно, расписан скверно — в период упадка, но кладка стен, плотная и чистая, внушает уважение к средневековым каменщикам.

В восьми километрах вверх по автостраде, на берегу Дзирулы, укрылась в ложбине небольшая базилика IX века. Ни разу не перестроенная, она прекрасна своей подлинностью, но прославлена не возрастом, а фресками XIV века: росписи Убисской базилики знают специалисты всего мира.

Ничего подобного не скажешь о нашей церкви. Сооружена была она на исходе позапрошлого столетия, наспех и неосновательно сколочена из досок и выкрашена в синий цвет, а иконостас привезли из кутаисских мастерских и на арбах подняли на гору. Единственным старинным предметом была Библия, неподъемно большая, с серебряными наугольниками и крестом на окладе и толстыми потемневшими страницами светло-горчичного оттенка. Она лежала на алтаре, и мы иногда робко листали ее. Библия была написана на *хуцури*, который в нашей деревне читал только Коля Каландадзе, бывший семинарист и книгочей. Для нас она оставалась недоступной и пугающе чуждой, как разбросанные вокруг нее семисвечники, лампадки, паникадила, облупившаяся епитрахиль и мятые латунные кресты.

Нелепо после убисских фресок заводить речь о росписи нашей церкви, однако художник кутаисской мастерской оказался весьма мастеровит. Он украсил алтарь четырьмя ростовыми иконами, ликами евангелистов на Царских вратах и канонической Тайной вечерей над ними.

По левую сторону от Царских врат располагались Богородица с младенцем и Нина Каппадокийская, по правую — Вседержитель с державой и Георгий Победоносец. Кутаисского мастера я не случайно называю художником, а не иконописцем: уж больно он увлекся фактурой тканей и драпировкой одежд, бликами на латах и щите Святого Георгия, а особенно милотой женских лиц — Богородицы и Нины Каппадокийской. Загадкой для меня было сходство всех четырех изображений, в особенности Нины и Святого Георгия, они казались прямо-таки двойняшками. Похоже, мастер не утруждал себя разнообразным портретированием; он нашел *образ,* возвышенный и чистый, набил руку на его воспроизведении и, почти не внося

изменений, драпировал шелками и бархатом или пририсовывал усы и бороду. А Равноапостольную Нину одарил темненьким пушком над губой, не в меру чувственным для святой.

Наша церковь изначально производила впечатление хрупкости и недолговечности, продлить ее жизнь могла только неустанная забота. Крушение началось с кровли — растрескалась и посыпалась черепица. Сквозь щели потекло на стену против алтаря.

Эта сторона церкви вызывала у меня не интерес, а ужас. Я старался не смотреть на нее с тех самых пор, как четырехлетним мальчонкой, уцепившись за платьице Нани, впервые увидел на черной подгнивающей стене ржавые венки с пестрой рванью и истлевшими лентами, вяло колеблющимися от сквозняка, и испуганно попятился. Подгнившая стена с венками на крюках стала для меня образом Апокалипсиса. Казалось, там гнездились чума, холера, проказа, все средневековые беды и ужасы. Ржавые венки на крюках контрастировали с красивым, малиново-лиловым и багряно-изумрудным иконостасом, как режущая слух какофония — с тихим стройным хоралом. Может статься, что чуждая погребальная атрибутика, невесть как попавшая в виде железных венков в нашу церковь, ускорила ее крушение, во всяком случае, не предотвратила его. Так или иначе, к началу 80-х годов, не дотянув до столетия, церковь рухнула. В последние годы разгулявшаяся молодежь даже способствовала развалу ее стен, дабы не длить агонию. Библию и иконы отвезли Коле Каландадзе, а остатки стен разобрали на дрова. Голубой мираж, струящийся в жару между густыми деревьями, исчез; на его месте остались мелкий фундамент и заросшая мхом каменная паперть.

Именно в это время в недолгой и печальной истории нашей церкви зарождается сюжет, уводящий ее из деревни в большие северные города и европейские столицы.

С отроческих лет помню в деревне имя — Амиран. Мужественное и благозвучное, в грузинском восприятии оно обогащено фольклорными ассоциациями: Амираном зовут героя грузинского мифа, предтечу Прометея. Чуткий слух Булата Окуджавы расслышал обаяние этого имени и наделил им рассказчика лучшего из своих романов «Путешествие дилетантов». «Из записок князя Амирана Амилахвари» — читаем мы, приступая к истории романтической любви.

Фамилия нашего Амирана была Ниорадзе, и он не был князем, хотя внешностью и повадкой вполне соответствовал бы титулу — так я представляю себе этого человека. Удивительно, но за всю жизнь нам ни разу не довелось встретиться, притом что оба происходили из небольшой деревни, которую часто навещали. Это можно объяснить только разницей в возрасте: когда я рисовал на листках в косую линейку комиксы о войне, сопровождая имитацией пальбы и взрывов, Амиран воевал на фронте и, отступив до Волги, двинулся в обратном направлении.

После войны он несколько лет азартно вкушал забытые радости мирной жизни, едва не перебрал, но спохватился — остепенился, женился и породил на свет кучу детей, причем исключительно девочек, кажется, полдюжины. Однако никто из многочисленных друзей даже во хмелю не назвал его бракоделом, такие уродились девчонки. Что до женщин, то в их среде бытует мнение об исключительных свойствах мужчин, от которых родятся девочки; на эту тему со знанием дела рассуждает любимая женщина Гарри Моргана, однорукого контрабандиста из хемингуэевского «Иметь и не иметь».

Наш Амиран не был ни князем, ни контрабандистом. Человек обстоятельный и сильный, четыре года просидевший за баранкой «студебеккера», он не метался в поисках профессии и всю жизнь проработал водителем междугороднего автобуса. Испробовав разные маршруты, выбрал для себя «Тбилиси — Батуми». Часть автострады, по которой он вел свой автобус, проходила вдоль речки Дзирулы, у нас под горой, и, проезжая мимо, он всякий раз сигналил — родным горам, людям, родникам и виноградникам. Он попросил друзей из автопарка усилить сигнал его автобуса, довел

его до того фортиссимо, которого в особых случаях дирижеры требуют от своих «медных». (Помню, как Евгений Светланов слал восхищенные поцелуи своим тромбонам и трубам после музыкального антракта в вагнеровском «Лоэнгрине».) Амиран несомненно заслужил бы поощряющий жест маэстро. На пути из Батуми в Тбилиси звук его трубы раздавался, когда сверкающий «Икарус» выкатывался из-за поворота над кирпичным заводом; второй раз он звучал на изгибе шоссе напротив скалы Нахидвари.

Оркестровые трубы почему-то называются «медные», тогда как в минуту фортиссимо они исторгают чистое серебро. Амирана слышала вся деревня, сигнал не достигал только вершины горы. Многие оглядывались на звук, некоторые даже махали рукой в сторону шоссе, хотя понимали, что Амиран их не видит.

Спасибо тебе, Амиран! Сам того не ведая, ты вносил в наши мальчишеские души прекрасную ноту свободы, смелую и радостную...

И вот через тридцать лет после тех впечатлений, в конце восьмидесятых, в моей московской квартире на Ленинградском проспекте раздался телефонный звонок, и низкий мужской голос сказал: «Я Амиран Ниорадзе».

Увы, нам и в тот раз не довелось встретиться.

К тому времени появление в Москве моих односельчан перестало быть редкостью. Среди них были совсем родные, как Малхаз — внук Габриэла и Мариам: за ним я сам ездил в Мытищи к месту прохождения службы в стройбате и за две бутылки водки забирал у старшины на двухдневную побывку. Были и незнакомые, как славный парнишка Ачико, — когда жена полюбопытствовала, кем он мне доводится, я без тени юмора ответил: «По-моему, когда-то тетушка Елена показала мне на дзирульском мосту его дядю». Большинство односельчан приезжали по медицинской надобе, и мне удавалось им посодействовать: в те годы у писателей были своя поликлиника и больница, где не требовали генетического анализа для доказательства родства. Наиболее бесцеремонные приезжали за покупками, на шопинг, сказали бы сегодня.

Случай Амирана, оказалось, исключительный.

Он рассказал мне, что у двух из его многочисленных дочерей обнаружился талант: одна поет, другая танцует. Почувствовав, что характеристика прозвучала слишком обыденно, по-домашнему, он поправился: одна певица, другая балерина. В Тбилиси девочки произвели хорошее впечатление, но он хотел бы показать их в Москве... Суть звонка сводилась к следующему: нет ли у меня кого-нибудь в Большом театре, чтобы устроить просмотр и прослушивание.

Вопрос озадачил: связей в театральной среде у меня не было, а замах Амирана на Большой показался чрезмерным. Я посоветовал Амирану обратиться в постпредство, к советнику по культуре: в этой должности тогда подвизалась Русико Хантадзе, жена моего друга Бориса Андроникашвили, а сам вызвался предварить их визит звонком постпреду Нодару Медзмариашвили, человеку в высшей степени доброжелательному и обязательному.

Может быть, мой ответ показался Амирану формальным, но он даже не объявился в постпредстве. Во всяком случае, следующая весть о сестрах Ниорадзе, певице и балерине, доходит из Санкт-Петербурга, где они обе уже солистки Мариинского театра — оперной труппы и балета. Поразительно!

Популярность Ирмы — так зовут балерину — стремительно растет. Через несколько лет зарубежные гастроли делают ее мировой знаменитостью, она чаще танцует на сценах европейских столиц, чем в Питере. Знатоки объяснили мне, что во Франции ее буквально обожают, она напоминает французам знаменитую солистку Гранд-Опера, любимицу послевоенного Парижа. Балетоманы — каста; они готовы на все ради античного жеста Лиепы или цыганской повадки Плисецкой. Что французы разглядели в Ирме Ниорадзе, ведомо им одним, но их любовь обделила остальных почитателей танца.

Помню, как мне бросилась в глаза гигантская растяжка на пересечении Смоленского бульвара с Новым Арбатом, где завершалась отделка отеля «Плаза» — красными буквами по белому полю: «Блистательная Ирма Ниорадзе в Москве!» «Надо бы сходить к ней с букетом роз», — подумал я, но не подумал, что следует поторопиться: гастроли оказались быстротечные — Ирма была нарасхват...

Трагедия родины вернула ее домой. В страшные девяностые, не пережив свалившихся на Грузию бед, умер Амиран Ниорадзе.

В стране царила такая разруха, что знаменитым сестрам с трудом удалось перевезти тело отца в родную деревню и похоронить на нашем кладбище.

К этому времени кладбище разительно изменилось, проросло ржавыми оградами, выбралось из-под деревьев и поползло на пригорки. Каменная паперть — след старой церкви — рассыпалась и стерлась. В довершение рухнул наш дуб-великан. Снег ли перегрузил исполинскую крону, корни ли устали держаться за землю, но он повалился на исходе многоснежной зимы и долго ждал, пока люди распилят его на части. Необъятный ствол напрашивался стать давильней, но деревянных давилен давно уже не делают.

Райские кущи вокруг бирюзовой церкви обернулись обычным деревенским погостом, однако Амиран Ниорадзе пожелал вернуться на родную землю, и семья выполнила его желание.

А через несколько лет на месте разрушенной церкви Ирма возвела новую — каменную. В сущности, она взяла на себя все расходы, а работала вся община. Рвением и старательностью мои односельчане смывали грех с души, смягчали угрызения совести. Образ старой церкви, печальный и красивый, все еще стоял перед глазами, многие помнили ее, аквамариновую в зеленой куще.

Друг детских лет, добровольный прораб «покаянной» стройки Анзор рассказывал мне о трудностях, преодоленных каменщиками-самоучками, о поисках пригодных для кладки блоков, их доставке, обработке и тщательной подгонке. Решение некоторых трудностей приходило во сне, среди ночи, чуть ли не по подсказке святых-чудотворцев. «Того гляди, и впрямь в Бога уверую», — смущенно посмеивался Анзор, отпирая мне тяжелую церковную дверь. За дверью не было красивого иконостаса, малиново-лилового и багряно-изумрудного, не было также ни четырех седогривых евангелистов, лики которых запомнились с детства, ни неподъемной библии с серебряными наугольниками и потускневшим крестом.

Но вот уже пятнадцать лет церковь стоит, крепенькая, коренастая, увенчанная железным крестом, и каждую неделю молодой батюшка служит в ней и смущенно машет паникадилом, отгоняя напасти от односельчан Амирана Ниорадзе, чей серебряный сигнал помнит ущелье Дзирулы.

Лучший виноградник дяди Габриэла

Голубую церковь из каштановых досок и деревенское кладбище подковой охватывал лучший виноградник дяди Габриэла. Один его край подбирался к ежевичному холму, другой прикасался к земляничной поляне. Из трех виноградников дяди этот был самый щедрый. Лоза за что-то возлюбила солнечную ложбину, обнявшую красивое кладбище, и дядя Габриэл решил не утеснять ее ни соей, ни кукурузой, ни фасолью. Лоза отблагодарила сторицей. Только в этом винограднике в пору *ртвели* слышались радостно-изумленные возгласы женщин и счастливый смех, с каким они предъявляли друг другу не умещающиеся в руках тяжелые гроздья: «Глянь сюда, сестричка! Нет, ты только глянь!» — «А такое видела?» — «Дай хоть подержать, порадоваться!» Так счастливые молодки хвастаются крепенькими сияющими малышами. В этом винограднике чаще, чем где-нибудь, обнаруживались скопления гроздьев на

лозе, до пяти-шести в тесном соседстве: бережно срезанные, они являли собой чудо природы, ювелирный шедевр женолюбивого мастера. Перемежаясь вязанками красного перца и расчехленными золотыми початками кукурузы, они развешивались по всему дому — на веранде, под потолком, над окнами, даже у входа в погреб, превращая дом в языческое капище, в храм Диониса на краю каштановой рощи.

Осенняя ночь

Год не помню; думаю, вторая деревенская осень. Конец *ртвели,* стало быть, октябрь. Виноград частью отжат, частью увезен на арбах. Соседи, помогавшие в сборе винограда, разошлись. Нас в доме снова пятеро.

Бабушка сварила *пеламуши* — мусс из пшеничной муки на виноградном сусле. Его лучше не трогать, пока не остынет. Чтобы скоротать нетерпеливое ожидание, выхожу на веранду. Перед верандой, над лужайкой, в ночи розово светится ладонь. Маленькая, нежная, с прожилками и смутно темнеющим остовом пальцев, она тихо светится изнутри.

— Нани! — окликаю я. — Это ты?

— Я,— отзывается Нани.

— Я думал, ты ушла домой.

— Ухожу...

Светящаяся ладонь движется в мою сторону. Нани держит перед собой коптилку и рукой прикрывает ее от ветра. Огибает веранду и направляется к дубам на заднем дворе. На меня большой черной кляксой наплывает колышущаяся тень.

Ночь пахнет сладким суслом, дымом осенних костров, пресной влагой кукурузных метелок.

Бабушка

Я плохо помню бабушку, худую старуху с узким продолговатым лицом, изборожденным морщинами. Таких величавых морщин не знают нынешние городские старушки, суетливые клиентки парфюмерных магазинов и косметических салонов. Морщины бабушки, прочерченные долгой жизнью, были обожжены камином и солнцем и подчеркнуты ее неизбывным горем — гибелью единственного сына. Но до глубокой старости узкое сморщенное лицо обрамляли высокие дуги бровей, придававшие облику бабушки породистую надменность.

Помню ее в плотном сатиновом платке, неизменном черном платье до пят и в стоптанных туфлях.

Немногословная, словно окаменевшая в своем горе, она неловко передвигала в камине тяжелые глиняные сковородки, или — *кеци,* обжигалась о закопченный кумган и мятую алюминиевую кастрюльку — хозяйничала, как могла. Покончив со стряпней, она устраивалась в продавленном кресле у подслеповатого окна и читала; до последних дней читала без очков, отдавая предпочтение классике и переводным романам и отказываясь от новинок, азартно пропагандируемых тетей Еленой.

Живой интерес к литературе породил идею, которой бабушка поделилась со мной, когда мне было лет пятнадцать: «Ты хорошо владеешь русским и грузинским, почему бы тебе не заняться литературным переводом...» Она сказала это деловито, как толковый прораб, распределяющий наличную рабсилу. Тем самым бабушка предсказала, точнее, подсказала мне профессию, ставшую делом моей жизни.

С годами стало понятно, что подобно тому, как определенный участок мозга отвечает за образное мышление, сферу тонких рефлексий в нашей семье продуцировала бабушка. Скорее всего, сказалась генетика, ее происхождение из потомственного

духовенства — епископ Кутаисский, видный богослов и проповедник, доводился ей дядей: его впечатляющее фото до последних лет хранилось в семейном альбоме, а вот имя запамятовал, тоже впечатляющее, чуть ли не Гермоген.

Бабушка умерла в конце пятидесятых. Среди родни, прибывшей на похороны, были два ее знаменитых племянника — художник Алекси Вепхвадзе и поэт Васо Горгадзе: первый был автором знаменитого батального полотна «Ранение Петра Багратиона на Бородинском поле»; удостоенная Сталинской премии, картина по сей день украшает один из залов Бородинской панорамы у Триумфальной арки в Москве; второй племянник прочитал перед похоронами отрывок из поэмы, посвященной усопшей, и положил ей в гроб томик своих стихов.

Слушая поэму, я понял, что почти ничего не знал о ней, немногословной замкнутой гордячке: поздно вышедшая замуж, она попала в чуждую среду и, похоже, тяготилась ею, но была так молчаливо горда, что даже голоса ее толком не помню. А может быть, причиной замкнутости было раннее вдовство. Каково остаться в чужом доме с пятью детишками на руках — старшей дочери не было десяти лет, а младшей еще предстояло родиться.

В памяти всплывает единственное событие, живо связавшее нас.

Мы идем по проселку мимо редких домов нашей деревни. Дорога, забирая все вверх и вверх, далеко тянется вдоль горы. Это меня удивляет, я не ожидал, что наше село такое большое. Похоже, это один из первых моих выходов из дома. День тихий, серый. Деревья почти оголились. Под каштанами, похрюкивая, пасутся свиньи. Мне скучно рядом с бабушкой, я то и дело забегаю вперед, и бабушка окликает меня: «Не беги! Мне за тобой не угнаться!» Голос у нее слабый, надтреснутый. Неожиданно на него откликается собака: забухала немыслимым басом-профундо. Соответствуй она своему басу, перед нами предстало бы чудище с глазами как блюдца. На деле пес оказался не больше нашего Рекса, наверное, поэтому я ничуть не испугался. Разглядев меня, он перестал бухать, уперся передними лапами в перелаз и, заглядывая мне в глаза, завилял хвостом.

Но что сталось с бабушкой! Путаясь в длинном платье, роняя посох, она бросилась ко мне, обхватила трясущимися руками и запричитала, заворожила, силясь вкрадчивым шипом просочиться мне в душу, как ей казалось, навсегда травмированную и перепуганную. Я вслушивался в малопонятное лопотание — исковерканные обломки знакомых слов, выступившие из средневекового мрака обломки старо-грузинского, мингрельского и отживших диалектов. Время от времени взволнованный шип прерывался протяжным сосущим чмоканьем, точно бабушка с усилием высасывала из меня жало испуга. Так она заговаривала на старинный лад от порчи, тика, недержания, родимчика и заикания — мало ли чем может обернуться для ребенка шок испуга. И в минуту беды и тревоги для нее ничего не значили ни прочитанные книги, ни православное благочестие, отвергающее суеверие. Бабушка спасала внука. Как могла. Как умела. Как подсказал ей язык. Забота о ребенке и порыв любви сломали ее замкнутость и сдержанность, разрушили коросту, наросшую за полвека вдовства. Я так и обмер, когда сквозь истлевшее пальтецо услышал частое биение ее старенького сердца...

Тетушка Мариам

Совсем иначе вспоминается тетушка Мириам: насколько тиха и замкнута была бабушка, настолько шумна и открыта жена дяди Габриэла. Приход соседки, неожиданную новость, приезд далекого гостя или первые взбрыки новорожденного теленка — она все встречала возгласом веселого удивления. По утрам — ранняя птаха — Мариам первая выходила из дома. Мягко ступая босыми ногами, бросая взгляд на привычную панораму, открывающуюся из нашего дома, она выискивала глазами,

чему бы подивиться и обрадоваться. Роса на траве, первый снег, дым из трубы кирпичного завода, торчащий как восклицательный знак, нежный запах земляники, доносящийся из сада, — все было поводом для легкой души, ищущей радости и удивления. Но памятуя о том, что все в доме еще спят, тетушка Мариам окорачивала себя и радовалась вполголоса, после чего, тишком перекрестившись, принималась за домашнюю работу.

Но однажды природа припасла для нее сюрприз, удививший так, как она не надеялась, да по правде и не хотела.

Выйдя поутру из дома и бросив привычный взгляд в ущелье, она ахнула: картина, представшая ей, не удивила, а напугала: речка Дзирула, протекавшая далеко внизу мимо кирпичного завода и уходившая под железнодорожный мост, превратилась в озеро. Такого не случалось даже после самых снежных зим, в бурное половодье. Ей показалось, что озеро растет у нее на глазах и вот-вот хлынет через мост. Хлипкий пешеходный мост и часть автострады были уже затоплены. «Потоп!» — ужаснулась тетушка Мариам и громко заголосила: «Ооой! Ооой! Ооой! — вскрикивала она. — Господи, спаси и помилуй! Спаси и помилуй, Господи! Люди добрые, второе пришествие!..»

Причина потопа вскоре выяснилась. Оказалось, что минувшим вечером чуть ниже нас по течению, за кирпичным заводом, сошел гигантский оползень. Он затворил узкое ущелье и воды двух рек — Дзирулы и Чхеримелы, сливающиеся за железнодорожным мостом, стали быстро скапливаться.

Нешуточное стихийное бедствие послужило началом масштабной стройки — прокладки нового участка автострады, переноса железнодорожных путей, наведения мостов — работа растянулась на годы.

Но меня волнуют не инженерные последствия стихийного бедствия, а нотка радостного удивления в голосе тетушки Мариам. Даже при виде потопа. В нем мне слышится смелость перед лицом жизни и готовность к испытаниям. Что за характер! Как нам повезло, что этот самородок попал в наш дом! По семейному преданию дядя Габриэл нашел ее в семье знакомого из Супсы, с которым был связан делами оптовой виноторговли. Семнадцатилетняя сирота жила у родственников из милости. Чтобы удостовериться в подлинности находки, дядя Габриэл свозил в Супсу старшую из племянниц, рассудительную Маргариту, ровесницу своей суженой. Избранница дяди так понравилась Маргарите, что у нее вырвались слова, сохранившиеся в семейном предании: «Не раздумывай, дядя! Она как горлинка!» Окрыленный дядя Габриэл в две недели завершил все формальности и обряды и ввел Мариам в наш дом на горе, где она прожила всю жизнь, служа опорой каждому, кто нуждался в поддержке.

По молодости я не понимал уникальности этого характера. Тетушка Мариам казалась мне легкомысленной, пожалуй, даже глуповатой. В особенности я не одобрял потакания сквернословию Юлии — нашей бывшей работницы, еженедельно приходившей подсобить в выпечке хлеба. Юлия была армянка, едва освоившая грузинский, и, якобы по незнанию языка, позволявшая себе сальные шуточки и откровенные матюки, причем не вполголоса, а звонко, на все село. Ее выходки до слез смешили тетушку Мариам, она заливалась, как девчонка, и подзуживала хулиганку. Чего только ни позволяли себе две немолодые женщины! Унять их могло лишь появление дяди Габриэла.

Мое скрытое неодобрение фривольностей вполне согласовывалось с невысказанной догадкой о том, что тетушка Мариам не знает грамоты: я ни разу не видел ее читающей что-нибудь или пишущей.

Каково же было мое удивление, когда среди предфронтовых писем, адресованных дяде Левану, обнаружилось два письма тетушки Мариам его матери, написанные легким летящим почерком, без единой ошибки, и пронизанных такой материнской любовью, какую не смог бы воспроизвести самый тонкий и лиричный стилист.

Середина сентября. День поминовения усопших.

Тетушка Мариам, как всегда, первая выходит из дома. В этот раз она ни на что не отвлекается, а прямиком идет на кухню. Разжигает огонь в камине, заправляет сваренные загодя фасоль и рис, моет зелень, месит тесто для хачапури и кукурузных лепешек. Лицо ее при этом сосредоточенно и строго, губы скорбно поджаты. Порой на глаза набегают слезы. Она утирает их основанием большого пальца, по-детски мотает головой и шмыгает носом.

Закончив готовку, тетушка Мариам раздвигает стол на веранде и, застелив скатертью, расставляет тарелки и стаканы. Теперь осталось зажечь свечки, воскурить смолу в глазурованной миске и разлить вино по граненым крестьянским стаканам. Запах восковых свечей и дымок от смолы освятят стол. Священника не будет: тетушка Мариам жалеет недоучившегося семинариста Колю Каландадзе, но в ее понимании бедолага не может заменить священника. Ничего, она помнит слова поминального псалма и молитвы и помнит всех, для кого накрыла стол.

Середина сентября. Над горами летят журавли. Их курлыканье грустно озвучивает теплый осенний день. День поминовения. Так будет всегда, покуда тетушка Мариам стоит на ногах, покуда ей хватит сил разжечь огонь в камине и замесить тесто...

Только под конец жизни острый, как шило, ревматизм, гнездившийся в косточках ее крупного тела, пронзит ее, скрутит, переломит в пояснице и вытеснит возглас радостного удивления, с которым она шла по жизни, жалобным беспомощным стоном.

Дядя Габриэл

К бабушке и тете Мариам я относился со снисходительностью малолетнего баловня.

Все было иначе с дядей Габриэлом: на него я взирал с почтением и робостью, не позволял при нем ни шалостей, на которые был горазд в ту пору, ни красноречивой болтливости, такой забавной для взрослых в устах малыша, Глядя на него, я помалкивал, не моргая и приоткрыв рот.

Он появлялся после полудня — приходил из виноградника, в котором работал спозаранок. Высокий, сухощавый, шел чуть нетвердо, утомленный солнцем, сопровождаемый июльским зноем и треском цикад. На нем была синяя сатиновая блуза в пятнах пота, холщовые штаны, стоптанные башмаки и широкополая соломенная шляпа, в каких тогда работали на чайных плантациях. Это крестьянское облачение производило впечатление элегантности, чуть ли не аристократичности. Он снимал желтую шляпу, вешал на медный крюк, привинченный возле двери, и садился к столу. Тетушка Мариам тут же выносила стакан белого вина, разбавленного холодной водой. Дядя Габриэл пил медленными глотками, и морщины на его заросшем щетиной лице обозначались глубже. Тетушка Мариам не отрывала от него глаз. «Уморился, Габо? — сочувственно спрашивала она и бросала негодующий взгляд на солнце. — Переведи дух, я сейчас...» С этими словами она топала босыми ногами на кухню, а старик ставил пустой бокал на стол и клал рядом свои руки. Они лежали на столе по обе стороны граненого стакана, как два отдельных предмета или самостоятельных существа. Они были некрасивые, грубые и неопрятные, со складками и трещинками на суставах, с язвочками и царапинами на тыльной стороне ладони, с жесткими мозолями и с землей под ногтями. В сравнении с бледными запястьями, высовывающимися из рукавов блузы, они казались несоразмерно большими и красными и походили на отъевшихся крабов или неведомых природе красных черепах. Я, затаив дыхание, смотрел на эти руки и не смел перевести взгляд на того, кому они принадлежали.

На столе появлялась миска с фасолью и зеленью, сыр, почти невидимый на белой тарелке, разогретая кукурузная лепешка.

Старик рассеянно ел и запивал из глазурованной махотки (я так и не разгадал его пристрастия к этому неудобному сосуду: похоже, ему нравился клекот вина в горлышке). Закусывая, дядя Габриэл переходил на неразбавленное вино, всегда белое и очень сухое.

Случалось, что сидящий за столом мальчик, то есть я, попадал в поле его зрения, и тогда его утомленный взгляд оживлялся, в нем зарождались интерес и дружелюбная, чуть насмешливая улыбка. Он говорил что-нибудь совсем простое. Например: «Соскучился по брату?» — или, кивнув в сторону комнат, выходящих на веранду: «Тебе бы сверстника вместо этих старух...» — или требовательно бросал жене, хлопочущей на кухне: «Маро, налей ребенку молока похолодней!..» А когда мама приехала за мной, чтобы увезти назад в Тбилиси, дядя Габриэл непривычно долго всматривался в меня и раздумчиво сказал: «Мать решила отдать тебя в русскую школу... — И, погодя, добавил — Ничего. Русские народ неплохой...»

Немногословный старик, такой значительный в своем молчании, был окружен тайной, которую робко угадывало детское сердце. Нынешняя его жизнь протекала у всех на виду и была по-крестьянски проста: дом, виноградник, марани, заготовка силоса, опрыскивание лозы... Примерно раз в месяц он ставил деревянное седло на черную понурую ослицу, грузил мешками с кукурузой и неспешно шел на мельницу — далеко, в соседнее ущелье, по другую сторону железной дороги. Этот долгий путь, пролегавший на виду у всех, также не содержал тайны; разве что, вернувшись домой, старик слишком въедливо вчитывался в принесенные с почты газеты.

Однако это не отменяло тайны. Она была и, по-видимому, осталась в прошлом, в первой половине его жизни.

Затаив дыхание и не моргая, я смотрел на дядю Габриэла и помыслить не мог, что когда-нибудь наше бессловесное общение сменится увлеченными разговорами и посиделками под липой, за круглым столом и бутылкой вина. Но и во время этих посиделок он ни словом не обмолвился о своей молодости. Таким образом, мне не остается ничего другого, как выстроить представление о первой половине его жизни по косвенным признакам и случайным оговоркам. Например, по упреку, в запальчивости вырвавшемуся у младшей из моих тетушек, вспыльчивой тети Нуцы: «Вот ты все на него не нарадуешься — какой, видишь ли, он мудрый, да какой хозяйственный, и какой предусмотрительный!.. А знаешь ли ты, мой хороший, что было время, когда твой дядя Габриэл дарил гостящим в нашем доме родственницам французские платья и парижские шляпки! И не только родственницам, но и ихним подружкам...»

Право не знаю, почему такое сообщение должно было разочаровать меня!

А другая тетушка — Елена — как-то припомнила ежегодную ярмарку в соседней Цеве: оказалось, что в дни ярмарки в нашем просторном дворе накрывались столы — от калитки до веранды, — и каждый, кто шел в Цеву, мог завернуть к нам, перевести дух, выпить пару стаканов вина, а заодно и отовариться...

Запомнился забавный случай, рассказанный тетушкой: в один из ярмарочных дней к нам во двор забрел подслеповатый старик в полотняном костюме, заинтересовался рыбиной, лежавшей перед кухней в лохани, — в окрестных речках крупная рыба редкость; близоруко щурясь, старик наклонился, чтобы разглядеть ее, как рыба вдруг изогнулась и наотмашь хлестнула хвостом по щеке. «Дала леща!» — смешливая тетушка Елена прыскала так, как будто сама подстроила розыгрыш.

От широких возможностей былых времен остались только холодная голландская печь в зале и ослица под деревянным седлом.

Своеобразное подтверждение тетушкиных баек я получил в хмельном застолье от одного из младших сверстников дяди Габриэла; самого-то тогда уже не было в живых, а застолье он и при жизни не жаловал. Пили в доме одинокой вдовы, шумной, боевой Доники, праздновавшей возвращение из армии единственного сына. Широкое

застолье привлекло даже нескольких стариков, и один из них с какой-то блудливой ехидцей просипел у меня за спиной: «А знаешь ли ты, Сашура, голубь, что в двадцать первом красном году, когда Серго хотел свою Горешу[1] проведать, Габриэл заготовил для встречи пару схронов на Рикотских кручах?..» По голосу узнал бы говорившего, уж больно запоминающийся был голос, но, слава богу, опознавать не пришлось. А теперь и косточки его в земле истлели. Теперь за те схроны дядю Габриэла национальным героем объявили бы. А тогда грозила Сибирь. До скончания дней.

Кем не могу его представить, так это террористом или абрагом с маузером в руке!

А может быть, по молодости было и такое, и он просто уступил силе, смирился. Пошел на попятную. Помозговал на распутье и предпочел тихую тропу виноградаря, без маузеров и схронов, с садовыми ножницами и опрыскивателем за спиной. Возделывание лозы оказалось призванием, вот почему в его смирении не было ни унижения, ни досады; а ухоженные виноградники жили в предфронтовых письмах племянника и сына наравне с близкой родней, оба заботливо расспрашивали о них.

* * *

Вольно мне было два года бегать за бабочками и собирать лютики и землянику, когда за хребтом шла война! Детское сознание все преображало в игру.

По утрам ущелье наполняла солдатская песня, мрачный угрюмый марш. Гулкость, усиленная горами, искажала дикцию, и слова едва можно было разобрать.

Мы — красноармейцы,
дети рабочих и крестьян.
Уничтожим капиталистов —
ведь мы красноармейцы...

Доносящийся из ущелья гул был лишен маршевой бравурности, четкости шага. Тем неумолимее звучала угроза.

Я вспомнил ее с годами, когда, оказавшись на вершине нашей горы, увидел длинную, петляющую балку, заросшую травой: то была линия учебных окопов. Сюда поднимались новобранцы военных лет, маршировавшие в ущелье, чтобы перед отправкой на фронт потренироваться в стрельбе, метании гранаты и укрывании за бруствером. Поодаль, на опушке леса, торчали остатки большого сарая, некогда спасавшие новобранцев от непогоды. В сравнении с угрюмой суровостью песни окопы смотрелись на удивление безобидно и легкомысленно. Может быть, оттого, что их края осыпались и заросли травой.

Вплоть до распада Союза и милениума это место в деревне называлось «окопы». Странно было слышать от детворы, озабоченно перекликающейся в поисках пропавшей скотины: «А у окопов искал?.. Поищи у окопов!..»

Шрам войны. Памятная отметина на лбу нашей горы.

Тетя Елена

Тетушка Елена, моя любимая мамида[2], свободные часы отдавала рукоделию. Цапля над диванчиком в столовой была делом ее рук. Она с детских лет завистливо присматривалась к работам старшей сестры Тины, мечтая сравняться с ней в утонченно-кропотливом умении; впрочем, давно осознав тщету своих усилий (каждому свое!), она просто коротала над пяльцами жаркие часы летнего полдня.

---

[1] Гореша — родное село Серго Орджоникидзе.

[2] Мамида — сестра отца; тогда как дейда — сестра матери.

Обычно мамида устраивалась во дворе под липой, но в день, который мне запомнился, перебралась на дорогу, ведущую к кладбищу, туда, где над грубой стеной, подпирающей лучший виноградник дяди Габриэла, цвел гранат. Это была еще одна привычка мамиды, точнее, потребность ее натуры: находить живописное место вблизи дома и там обустраивать временное гнездовье, благо, таких мест хватало, и искать особенно не приходилось.

Место на обочине дороги, где мамида устроилась в тот день, было из самых красивых. Над головой нависали кусты граната, их продолговатые листочки матово блестели, а в гуще желтоватой зелени язычками пламени рдели цветы, затвердевшие в форме короны.

Так выглядел живописный задник картины. А красота, открывающаяся перед глазами, и вовсе не поддается описанию, лучше перечислить названия местностей, прославленных великими художниками: Калабрия, Тоскана, Андалусия... Ну и Имеретия, конечно! Она открывалась в широкой раме из трепещущей повители, опутавшей плетень и стволы акаций.

Мамида сидела на трехногом табурете, положив на колени пяльцы с рукоделием. А я шел к ней со стороны дома с большим мешком, набитым стручками фасоли. Мешок был больше меня и при этом ничего не весил. Минувшей ночью женщины вылущили фасоль, просохшую на циновке под солнцем, ссыпали ее в кадку, а сухие стручки напихали в мешок. Получилась убедительная бутафория туго набитого мешка!

Я знал, где мамида коротает полдень, и, забросив мешок за спину, направился к ней.

Деланно отдуваясь, я тащил на спине «непосильную ношу» и, дойдя до тетушки, сбросил на землю.

Мамида задолго приметила меня, но только тут оторвалась от рукоделия.

— О! Вернулся, наконец! — во взгляде и голосе радость и удивление. — С возвращением!

— Здравствуй, мамида! — тяжело вздохнул я и подвинул мешок к ней.

— Здравствуй, Сашенька! — ответила она. — Это сколько же тебя не было? Я уже начала беспокоиться, — она говорила, почти не глядя на меня, с легкой досадой, то есть в высшей степени убедительно. — Откуда ты на этот раз?

— Из России, — я устало вздохнул и сокрушенно покачал головой; выходит, я уже знал это слово, слышал в доме.

— Да что ты говоришь! Из России?! — она удивилась так искренне, что я слегка оторопел: неужели меня занесло так далеко.

— Как ты туда добрался? Там же всюду патрули, проверки!

Фантазия мамиды опережала мою, и чтобы превзойти ее, я сказал:

— Я видел там твоего брата.

После таких слов три мои тетушки, даже рассудительная тетя Маргарита, наверняка прослезились бы, да и тетушка Мариам тоже. А вот моя дорогая мамида удержалась. Чуть нахмурясь, она спросила:

— Тебе удалось попасть на фронт?

Я важно кивнул.

— Надо же, какой ты смелый! — восхитилась она и все-таки поменяла тему: — Что это ты привез из России? — она посмотрела на мешок.

— Это мука, — сказал я и похлопал по мешку. Сухие стручки предательски зашуршали, но мамида сделала вид, что ничего не заметила.

— Мука? — обрадовалась она. — Кукурузная или пшеничная?

— Кукурузная.

— Как кстати! У нас кукурузная кончается. Выручил ты нас, Сашенька, вот спасибо! — Она собрала свое рукоделие. — А теперь пошли: после такой дальней дороги надо отдохнуть и подкрепиться. Тебе не тяжело?..

Я без слов забросил мешок за спину.

Все-таки никто не умел подыграть, как она. У нее был дар, отшлифованный многолетним общением с малышами. С двадцати лет выпускница педагогического училища работала в начальной школе. Окруженная обожавшей ее детворой, придумывала для них ребусы и загадки и организовывала смешные и увлекательные викторины. А для меня тайком разбрасывала в орешнике денежки и карамельки, чтобы порадовать — и порадоваться моей доверчивости.

Позже, в годы студенчества, когда я оказывался в доме на горе, мамида обожала разыгрывать по утрам «завтрак вельможи»: тщательно стелила на столе в гостиной ажурную скатерть, сервировала в меру возможностей нашего буфета и, подав завтрак, удалялась со словами: «Если что понадобится, только хлопни в ладоши». И я хлопал в ладоши — раз и другой — ради нашей игры и взаимной любви, и она немедля появлялась в дверях с выражением готовности на лице: «Что, мой дорогой?» — и подчеркнуто услужливо подливала в рюмку ежевичную наливку собственного изготовления или тщательно намазывала бутерброд. «Кофе подавать или еще рано?» — спрашивала кротко.

Общение ли с детьми поддерживало в ней эту склонность или потребность в игре до седин жила в ее детской душе?!..

Река

Я многим обязан моей мамиде, но самым дорогим ее подарком стала наша речка Дзирула.

Мой друг, писатель Мамиа Асатиани, мечтатель и романтик, услышав, какая река протекает мимо моей деревни, восхитился: «О, Дзирула! Это ж как Иордан!..»

В отрочестве я исследовал Дзирулу от железнодорожного моста, видимого из нашего дома, до Убисской базилики в ложбине под автострадой. Я узнал ее скалы и гроты, переполненные белопенным потоком, скромные заводи и широкие отмели, усыпанные булыжниками и валунами, и маленькие песчаные пляжи. На горах по берегам Дзирулы густо росли вязы, дубы, каштаны, а над бегущей водой колыхались ивы со следами паводка на стволах и даже в ветвях...

После захода солнца ущелье Дзирулы подергивалось дымкой. Откуда-то прилетали большие голубые стрекозы и зависали над водой. Неуверенно пробовали голос лягушки. С наступлением ночи включалась акустика гор, и лягушачий концерт доносился до нашего дома, хотя дорога к нему занимала не меньше часа.

То, что жизнь зародилась в воде, долго оставалось тайной. Ради ее раскрытия ученым пришлось исследовать мезозойские ракушки, изучать земноводных и вылавливать последних целакантов... Для меня все было очевидно с детства: не будь вода нашей праматерью, она не влекла бы нас так неодолимо, как может влечь только родная стихия...

Наш дом стоял выше других на горе, и с наших высот дорога на речку была целым путешествием. Но ни одно путешествие не вызывало такой радостной готовности. Еще бы — я возвращался в родную стихию! Я помнил, что меня ждет. Видит бог, река ни разу не обманула моих ожиданий.

Тропа, то кремнистая, то сыпучая, то затянутая муравой, но все время петляющая и такая крутая, что приходилось хвататься за кусты и папоротники — только бы не разогнаться, а порой и сползать, садясь и сзади опираясь на руки.

Но вот круча позади. Одолеваю липучку гудрона и сбегаю на усыпанный камнями берег. Белые камни похожи на откормленных подсвинков. Они дышат сухим теплом, по ним приятно ступать босиком. Сердце обмирает от предвкушения... И вот уже, скинув одежонку, вхожу в воду и осторожно ступаю по плотному дну. Вода сначала по

щиколотку, потом до колен, и я ложусь в нее, плюхаюсь, захлебываясь от восторга и ни с чем не сравнимого наслаждения. И река тоже рада — это слышно по ее плеску и журчанию возле уха. А предвечернее солнце жарит в темя и между лопаток. Я глубже погружаюсь в воду, ныряю с головой и чую, как солнце сквозь зыбь достает меня, а река охлаждает заботливо, оба пекутся наперебой, их касания влажны и ласковы.

— Мамида! Мамида! — кричу я. — Смотри, как я плаваю!

— Вижу, Сашенька! — откликается она с берега. — Ты у меня настоящий пловец!

Я то замираю в стремнине, то сучу ногами, то передвигаюсь задом наперед, наподобие рака, забредшего в речку из горного ручья: какое-то время мы двигаемся рядом, но потом рак сердито и коряво поспешает к берегу и исчезает под камнем, а я возвращаюсь в плоское стремя. Похожий на веретено усач стрелой проносится под животом и щекочет; два глупых бычка останавливаются у моих рук против течения, долго стоят в недоумении, вяло шевеля плавниками, и вдруг, испугавшись моей тени, стреляют в разные стороны. А выше по течению, где вода темнеет от глубины, из реки выпрыгивает молодой карп и, сверкнув серебристым брюшком, плюхается на спину, и хотя я едва успеваю разглядеть его, мне мерещится шалая ухмылка рыбьего рта.

Не помню, когда я первый раз ступил в свою заводь, думаю, мне не было и четырех лет. С тех пор, пока не научился держаться на воде, она привечала меня и бережно пестовала. Я обшарил ее песчаное дно, слегка накрененное к нашему берегу, и знал в нем каждый шершавый камень, застрявший в песке, и каждый подернутый слизью валун. Река широко растекалась по излучине, теплая как чай. Нахлебавшись, я нутром чувствовал ее вкус, словно на время опять становился земноводным. Во вкусе терпкость и сладость мешались с горчинкой: вкус горной речки, вобравшей десятки ручьев, раскрутившей десятки мельничных жерновов, утопившей на дне спелые желуди, кисти рябин и вязкую дубовую паль.

В заводи просторно, она моя от берега до берега. И все-таки я всматриваюсь вверх по течению: хочу увидеть, откуда приходит река, — ревнивое любопытство сродни тому чувству, с каким думаем о неведомой жизни любимого человека. Я еще не знаю, что до истоков реки десятки километров. Для меня она появляется из-за лесистого крутосклона. Лоснящаяся, неторопливо-медлительная, таящая до поры свою энергию, сбегается в сузившееся русло и, постепенно разгоняясь, вскидывает бугристые волны с клочьями пены. Разогнавшись, она налетает на отлогую скалу, косо вставшую на пути. Свинцово-синяя скала и бьющийся об нее белопенный поток хорошо видны из моей заводи. Зрелище грозное и красивое. Отраженная вода нехотя сворачивает, закручивает большие угрюмые воронки и недовольно ворчит. Ниже по течению воронки стихают и сглаживаются. Тут на пути, как купающиеся бегемоты встают большие черные валуны. Вблизи моей заводи стремнина совсем замирает и кажется зеркально отполированным малахитом...

В этом месте я прерываю цепочку воспоминаний и из трагических дней Великой войны переношусь в наши окаянные дни.

В 2006-м спецслужбы Грузии задержали на своей территории четырех российских шпионов; в ответ Москва прервала авиасообщение с Тбилиси. Больше двух лет приходилось добираться экзотическими маршрутами — через Минск, Киев, даже Стамбул. Одна из этих поездок одарила необычным и двойственным впечатлением.

В тот раз пунктом транзита оказался Ереван: я пересел в микроавтобус и покатил в сторону Тбилиси.

Двухчасовую тряску по раскаленному плато сменил затяжной, без серпантина спуск; перепад высот выглядел внушительно — в снежные зимы смертельный номер!

С какого-то места внизу в зеленом ущелье открылась река, до неправдоподобия похожая на Дзирулу. На зеркально отполированной малахитовой поверхности вспыхивали белые бурунчики, посреди потока тут и там, как спины купающихся

бегемотов, выступали камни, холодно отсвечивали перекаты, а по берегам над темными заводями колыхались ивы.

Сходство было такое, что я возмутился. Укол ревности — вот что я испытал! Похоже, Дзирула была для меня не частью любимого пейзажа, а чем-то большим.

А через год полыхнула нелепая пятидневная война.

Поспешно признав независимость сепаратистов, Россия сочла нужным коснуться своих потерь.

В один из вечеров диктор центрального телевидения со сдержанным негодованием оповестил страну о том, что во время боевых действий в Южной Осетии был сбит новейший стратегический бомбардировщик четвертого поколения, уникальный ТУ-22М3, который *упал в ущелье реки Дзирулы*.

Молодые, аккуратно подстриженные генералы, обсуждавшие событие в телестудии, сетовали, что самолет, обошедшийся стране в десятки миллионов долларов, созданный для серьезных дел и большой войны, был поднят в воздух по такому пустячному поводу, как бомбардировка Цхинвали и Гори, — еще один пример нашего головотяпства!.. Опять все те же грабли...

А я слушал их и видел груду покореженного металла, с воем падающего на мою испуганную речку. Не Герника с криком невопленным, а насильник, раздирающий юбчонку на девочке...

Генералы были реалисты, их мучили не призраки и видения, а неразрешимая загадка: пилот сбитого бомбардировщика, командир экипажа и прославленный асс, катапультировался, но не приземлился. Исчез. Пропал. Не был обнаружен ни на деревьях Дзирульского ущелья, ни в больнице городка Сачхере, ближайшего к месту падения самолета, ни в тбилисских госпиталях...

Среди генералов нашлись и конспирологи и особисты, но никто не смог выдвинуть сколько-нибудь убедительной версии исчезновения пилота. Я и сам не склонен верить в чудеса, но этот случай убедил меня в том, что бомбардировщикам не место над Дзирулой, чистой как Иордан...

Возвращение в Тбилиси

Два года в деревне подошли к концу.

Мама сообщила, что едет за мной, чтобы увезти в Тбилиси для поступления в школу.

Война кончилась. Начиналась новая жизнь.

Предстоящее расставание мучило, буквально разрывало меня надвое, как ребенка в «Кавказском меловом круге». За два года я сроднился с домом на горе и всем, что меня окружало.

Вечером перед отъездом, сопровождаемый приунывшим Рексом, я сбегал на ежевичный холм и земляничную поляну и постоял там в густеющих сумерках. Рекс деликатно держался поодаль. Боль и тоска теснили душу. А ночью, когда, уложив меня в постель, тетушка Елена слезливо вздохнула: «Ты уедешь туда, где узкое небо», — я не выдержал и расплакался.

Как же она оказалась права, дорогая моя мамида! Узкое небо, вот что меня ждало в городе, к чему я долго не мог привыкнуть и часами простаивал на балконе, глядя на клочок синевы между стенами.

На краю Тбилиси высится скалистый кряж с руинами старой крепости. Вдоль подножия кряжа сбегает к Куре тенистая улица. В доме на этой улице прошли мои

детство и отрочество. На балконе этого дома, выходящем в колодец двора, я подолгу стоял и смотрел на «узкое небо». Отвлечь меня или развеселить не было никакой возможности: оказалось, что за два года я забыл русский язык, и ни мамина ласка, ни слова утешения не доходили до меня. Подавленный, я, не спросясь, спускался во двор и брел через подворотню на улицу. «Сашенька! — окликала мама. — Сашенька, туда нельзя!» Не обращая внимания, я шел дальше. «Кому я сказала: туда нельзя! Там улица, машины. Там опасно!» Тревога в голосе мамы останавливала меня, но я не понимал ее и озирался, ища глазами брата. «Кому я сказала — стой! — сердилась мама. — Сейчас же вернись!». Наконец, я находил брата и спрашивал по-грузински: «Игори, чего ей надо?» Выслушав ответ, я понуро брел назад.

Мои первые попытки заново заговорить по-русски вошли в семейное предание, сделались любимыми историями мамы. С присущей ей артистичностью имитируя мою детскую важность и легкое пришепетывание, она любила рассказывать, как перебирала привезенные из деревни вещички, собираясь постирать их, а я, то ли выгораживая любимую тетушку, то ли избавляя маму от лишней работы, потянул ее за рукав и с трудом выговорил: «Эленэ чистыл», — дескать, не хлопочи, мамочка, тетя Елена все перестирала и выгладила.

Другая попытка вернуть язык оказалась еще забавнее. Присев во дворе над игрушечной машиной, я ковырялся в ней, когда появилась мамина приятельница — Валечка. Проходя мимо меня, она наклонилась и ласково спросила: «Сашенька, ты когда приехал?» Не отвлекаясь, я коротко буркнул: «Ззафтра». Валечка поспешила пересказать маме мой ответ, они от души посмеялись. Но я-то знал, что *эта* оговорка случилась не только от путаницы полузабытых слов, но и от смущения: я всегда тушевался при виде Валечки, своеобразие ее внешности волновало меня.

Через много лет в газетной заметке о постсоветских демографических проблемах мне попался такой негазетный текст: «Золотой пыльцой улетает за пределы страны женская краса России...» — и, оторвавшись от чтения, увидел прелестное лицо Валечки, склоненное над мальчиком в тбилисском дворе. Лицо было очерчено легко и чисто, как рисунок Матисса: слабый подбородок, высокие скулы, чуть вздернутый носик, широко расставленные голубые глаза...

На всю жизнь неотразимая славянская женственность залегла в моей памяти, там, где уже жила подружка деревенских игр, тонконогая Нани.

Со временем, не сразу, вернулся язык. Я стал смелей и подробней осваиваться в городе. Я обживал его с любопытством, но настороженно: так в фильмах о животных ведут себя вылезшие из логова зверята.

Тбилисский двор

Дом с множеством дверей и окон смахивал на гигантский улей. Двор же походил на зал оперного театра с обвалившейся крышей: с трех сторон его замыкали открытые веранды с резными перилами, с четвертой — глухая кирпичная стена.

Дворник Симон с тремя взрослыми внуками ютился в убогой каморке рядом с отхожим местом. Седые кудри и подстриженная борода придавали ему сходство с Акакием Церетели. Сходство это не могли перебить даже тесный френч и куцая фуражка, его неизменная униформа. С утра до ночи старик топтался в кирзовых сапогах по двору и в подворотне, орудуя облезлой метлой и большим ржавым совком. Время от времени он что-то выговаривал своим внукам, строго и неразборчиво брюзжал.

А внуки, на удивление беспечные, развлекались с дворовой ребятней.

Старшая — Латавра, тучная, с болезненным румянцем на одутловатых щеках и жидкой копенкой волос, рассаживала нас на ступеньках лестницы и взахлеб рассказывала трагические эпизоды из истории Грузии: о Дмитрии Самопожертвователе, о Цотнэ Дадиани и обезглавленном сыне Саакадзе — Паате.

Ее сестра Лаура, веселая, живая как ртуть, распевала русские романсы и плясала цыганочку, лихо вскидывая пяточками подол длинной юбки.

А братец Шалико, фантазер с вороватыми глазами, увлекал нас своими фронтовыми приключениями: о том, как в начале войны сбежал из дома и добрался до Новороссийска, где был взят юнгой на торпедный катер... В доказательство он предъявлял нам медаль с профилем Сталина и катером на оборотной стороне и просил принести чего-нибудь поесть, потому как десятый день не держал во рту ни крошки. При этих словах он задирал майку и показывал нам немыслимо тощий, буквально прилипший к спине живот. Скорее всего, он научился втягивать его по-йоговски или как-то по-цирковому. Потрясенные, мы тащили ему все, что находили в своих домах, таких же тощих, как его живот.

Обломки крушения. Остатки большой семьи. Несомненно, они знавали лучшие времена. Об этом свидетельствовали и взволнованная причастность Латавры к грузинской истории, и русские романсы Лауры, а в особенности красиво подстриженная борода старика Симона.

Их судьба, литературно дофантазированная, могла бы вылиться в еще одну повесть о временах репрессий и ссылок. Но я зарекся сочинять. На этот раз только то, что знаю доподлинно.

Над дворником Симоном и его внуками, над этой дотлевающей трагедией, в квартире с застекленной верандой, больными геранями и линялыми занавесками обреталось ничем не примечательное семейство обывателей с хныкающими грудничками и попукивающими старичками. Запомнились они только тем, что, при сугубо грузинской фамилии *Робакидзе,* все, от мала до велика, имели кроткие голубые глазки, невинные носики виноградинкой и округло окающий русский говорок, отсылающий на Волгу, к Ярославлю и Нерехте. Их целомудренную репутацию нарушала одна баба Шура: голубоглазая и курносая, как все семейство, она клянчила во дворе курево, клянчила требовательно, даже агрессивно и, разжившись, курила в кутке под лестницей, при этом ее голубые глазки сужались в щелки и сверкали ледяным огнем.

Над русопятыми грузинами с их страшноватой старушкой проживала приятельница мамы Ольга Николаевна Асатиани, вдова видного хирурга, погибшего под Ахалцихом от трупного яда, при вскрытии в полевых условиях. Воспитанница пансиона благородных девиц, она, подобно нижним соседям, предпочитала в общении русский язык, но не диалектный, окающий или цокающий, а старомосковский, с МХАТовской дикцией. Иногда бездетная старая дама одалживала меня у мамы — побаловать, угостить сладеньким, уложить спать в комнате с темными картинами, басовитыми напольными часами, и я попадал в непривычную обстановку старинной мебели, дорогих ковров, бронзовых и фарфоровых статуэток. А однажды в большом зеркале с резной рамой я увидел, как стареющая дама натягивала чулки, и подивился белизне и стройности ее ног.

Непосредственно над нами жила чета Симплицких, из кавказских поляков. Замкнутые, чурающиеся соседей, они донашивали свой некогда добротный гардероб и былую увядшую красоту. Мужчина был высок и статен для своих лет; желтоватая седина мягкими волнами спадала на его все еще прямые плечи. Лицо стерлось из памяти, помню только, что с него не сходило выражение досады и раздражения, точно он постоянно мучился изжогой.

Его супруга, сухонькая старушка с подведенными ресничками и яркой помадой на истаявших губах, общалась со всеми свысока, жеманно и надменно, но в глубине ее выцветших глаз застыли страх и неуверенность. Скорее всего, стареющая чета не попала бы в ряд запомнившихся соседей, если бы не их собаки, два великолепных доберман-пинчера. Их выгулом любовался весь Сололак. Поджарые холеные собаки с лоснящейся шерстью энергично тащили за собой старушку, семенившую на тонких подагрических ножках. Прогулка с доберманами была ее исключительной привилегией: поводки на «карабинах» зажаты в кулак, на руках дырявые ажурные митенки, вещь редкая в Тбилиси; встречные почтительно расступались и оглядывались. Каждый такой выход был не столько прогулкой, сколько демонстрацией под лозунгом «Еще Польска не сгинела!». Кажется, старушка сполна сознавала характер своих выходов. Только в те минуты, когда два великолепных добермана прокладывали ей путь, ее робкая душа освобождалась от страха и неуверенность в глазах сменялась кокетливой польской женственностью.

Прямо напротив каморки дворника Симона, на самой верхотуре, как на противоположном социальном полюсе, размещалась единственная в доме роскошная квартира; наши лестницы и веранды служили для нее черным ходом. Окна ее комнат выходили на улицу и поверх деревьев и крыш смотрели на скалистый кряж, с которого неизменно стекал легкий ветерок. В этой квартире проживал партработник Рабинович с женой и дочкой Донарой. Имени его я не знал, как и места в партийной иерархии, и вообще видел всего несколько раз в жизни: в просторном габардиновом плаще и в фетровой шляпе горшком он озабоченно поднимался по широкой веерообразной лестнице к себе наверх, где над площадкой перед дверью его квартиры вместо крыши вздувался стеклянный купол. Порой Рабинович возвращался с работы очень поздно, чуть не на рассвете; устало вешал свой плащ и шляпу и, в ответ на вопрошающий взгляд жены, со значением сообщал: «*Он* звонил», — и при этом с благоговением возводил глаза к потолку. Его слова означали, что в этот день секретарю компартии Грузии Кандиду Чарквиани звонил Сталин: известно, что у вождя был ненормированный рабочий день и своеобразный регламент, под который подстраивался весь аппарат.

Тонкости отношений в семье партработника мне неведомы, но жена и дочь Рабиновича носили фамилию Вольфензон.

Донара была намного старше меня: когда я поступил в школу, она перешла в восьмой класс. У девочек в этом возрасте пробуждается инстинкт материнства, их тянет возиться с малышами. Добрая душа, чего только Донара не надарила мне. Забылось все — мишки, собачки, лошадки, елочная мишура; в памяти остались только два ее подарка: английский пазл и книга «Тысяча и одна ночь». Ценой долгой сосредоточенности, сопровождаемой сопением и крехтом, пазл складывался в забавную картинку, изображавшую рассеянного джентльмена, по неосторожности севшего в сквере на свежевыкрашенную скамью: полуобернувшись, он брезгливо разглядывает свои штаны. Пазл был выпилен из мягкого дерева, поэтому сложившаяся картинка смотрелась как живопись маслом, милый шарж на «малых голландцев». А «Тысяча и одна ночь» поражала при первом же прикосновении: стоило открыть книгу, то есть откинуть обложку, как из нее, словно по волшебству, вставал сказочный дворец, тот, что по велению Алладина за ночь возвел всемогущий джин — минареты, купола, арки и ниши в мавританском стиле. (По жизни знакомый с изданием детских книг, никогда впоследствии я не видел такого эффектного оформления этих сказок.)

Однако больше незлобивого сердца Донары и ее щедрых подарков запомнилась одна особенность ее облика: у нее были светло-серые глаза, настолько светлые, что казались почти прозрачными — два алмаза, лучащихся добротой и грустью и изредка вспыхивающих искрой насмешки. Такие же глаза, потускневшие от прожитых лет, были у ее матери. А спустя дюжину годков я увидел их на филфаке тбилисского

университета у однокурсницы Киры Вольфензон, впоследствии вышедшей замуж за Шуру Цыбулевского. Прежде чем услышать фамилию однокурсницы, я узнал ее по глазам, разве что насмешливой искры в них было больше, чем доброты и грусти.

Необычный генофонд, драгоценный семейный код — глаза, передающиеся из поколения в поколение как наследственные алмазы.

Кто еще из соседей запомнился с детства?

В квартире с окнами на улицу, под партработником Рабиновичем, жили необычные брат и сестра — Рэм и Ада Плешковы. Собственно, необычной была только их блистательная успешность. Оба окончили школу с золотой медалью, оба преуспели в спорте: брат в шахматах, сестра в легкой атлетике. Нам, дворовой шпане, родители так настойчиво ставили их в пример, с таким укором и восхищением вбивали в головы их необычные имена, что превратили из живых людей в кумиров; во всяком случае, моя память как нимбом окружила их изумленным сиянием.

Об Аде говорили, что она соперничала с самой Надей Хныкиной, впоследствии призером Хельсинкской олимпиады. Я своими глазами видел, с какой легкостью взбегала она по веерообразной лестнице парадной, размахав длинные сильные ноги, и удивлялся только тому, что кто-то может соперничать с ней, пусть даже Надя Хныкина. Впрочем, Ада не стала спортсменкой, спринт остался увлечением юности. Куда увела ее золотая медаль, мне неведомо.

Что касается Рэма Плешкова, то, по слухам, он с блеском окончил Архитектурный институт в Москве и много лет подвизался на строительстве сочинских санаториев, наперекор «хрущобам» внося свой вклад в величественный сталинский ампир.

Малозначительный, но характерный эпизод тех лет: от нижней станции фуникулера до 43-й школы под скалистым кряжем пролегала километровая трасса ГТО; на асфальте были отчерчены старт и финиш. В восьмом классе и мы понеслись по ней наперегонки, радуясь, что дистанция идет под уклон. А после войны, желторотым первоклашкой, я увидел, как финишировали выпускники 43-й школы 1946 года: рослые статные парни (такими я увидел их, стоя на краю тротуара) бежали гуськом, выстроившись в затылок и не обгоняя друг друга. Возглавлял эту ироничную цепочку невозмутимый Рэм Плешков.

А под плешковскими окнами, мимо которых пробегала цепочка выпускников, за моей спиной располагалась самая знаменитая квартира нашего дома. Со временем она станет известна всему Тбилиси, всей Грузии и даже Союзу; ее будут показывать туристам, а туристы будут взволнованно извлекать фотоаппараты, дабы запечатлеть неказистый вход и три больших немытых окна. Рядом с неказистым входом когда-нибудь появится памятная доска, уведомляющая о том, что за этой дверью расположена квартира графа Сегеди из знаменитого романа «Дата Туташхиа» — одного из главных действующих лиц и, можно сказать, инициатора захватывающего повествования.

Но до появления романа еще далеко. Покамест его автор — Чабуа Амирэджиби, выросший в нашем дворе, арестован и отбывает первый из своих сроков, и его судебное дело предупреждает служителей пенитенциарной системы: «Склонен к побегу!» (С годами, близко узнав Чабука, я понял, что он был не только склонен к побегу, но и создан для побега. Но это все потом, четверть века спустя.) А тогда в квартире графа Сегеди жила тихая согбенная старушка по фамилии Майгур. Ее сутулую округлую спину зимой и летом облегало непонятное одеяние из черного плюша. Голоса старушки никто не слышал, а то, что мы слышали, походило на писк хворой киски. Чаще прочих этот писк адресовался юным консерваторкам, проживавшим на тенистой улице под скалистым кряжем, а также на ближних улочках и переулках. С папками нот под мышкой они деликатно стучались в одно из немытых окон и звонкими, еще не

надтреснутыми голосами, с очаровательным грузинским акцентом выводили: «Нина-пав-лав-наа!..» Произносилось именно так — слитно и музыкально. По сей день слышу незатейливый, незабываемый вокализ: «Нина-пав-лав-наа!..» — и вижу прелестные девичьи лица, нетерпеливые и чуточку смущенные оттого, что приходится привлекать внимание прохожих. «Нина-пав-лав-наа!..» Их зов объясняется тем, что у Нины Павловны Майгур в большой сумрачной комнате стоит рояль, и не какой-нибудь, а превосходный «Стейнвей». Дома у консерваторок тоже есть инструменты, но по преимуществу ширпотребные фортепьяно отечественного производства, им же время от времени, в особенности перед экзаменом или показательным концертом, хочется услышать настоящий звук — глубокий, волнующий, и тогда они стучатся в немытое окно и нежно выводят: «Нина-пав-лав-наа!..»

Скорее всего, старушка брала деньги за прокат своего «Стейнвея». Рояль надо было хотя бы раз в год настраивать, надо было на что-то жить, поддерживать себя и своего шелудивого, рыжего Вольфа, пригретого из жалости: слишком он был ничтожен рядом с великолепными доберман-пинчерами пани Симплицкой — они даже не замечали дрожащую в подворотне облезлую собачонку.

Поговаривали, что во время редких наездов в Тбилиси к Нине Павловне захаживал великий вождь футуризма (впрочем, доказательств визитов Маяковского не существует, во всяком случае, у меня их нет). Что же до «квартиры графа Сегеди», то здесь все достоверно: на первых же страницах «Дата Туташхиа» автор описывает наш двор и обозначает место проживания венгерского графа, в том числе большую сумрачную комнату с восковыми фигурками на полках, воспроизводящими персонажей будущих событий. В Тбилиси немало дворов, похожих на описанный в начале романа, но у меня хранится книга с автографом, подтверждающим место действия. Кроме того, припоминаю рассказ моей тетушки Тины, жившей до нас в том же дворе, в доме под скалистой грядой. Возвращаясь с работы (тетушка преподавала иностранные языки), она встретила у ворот худого голенастого подростка, горящими глазами смотревшего вслед проехавшему велосипедисту. «Чабук! — обратилась моя тетя к подростку. — Скажи, чего ты хочешь больше всего в жизни? О чем ты мечтаешь?» «Я хочу, чтобы все велосипеды в мире были моими», — честно ответил подросток.

Несомненно, это был ответ того, чье будущее «дело» предостерегало: «Склонен к побегу!»

В фильме «Фанфан-Тюльпан», вышедшем на экраны в годы моего отрочества, перипетии сюжета сопровождаются остроумными комментариями историка. Во вступительном монологе историк с меланхолической грустью, замечательно воспроизведенной Зиновием Гердтом, сообщает: «Была на свете когда-то такая замечательная страна, которая называлась Франция. Это было в семнадцатом веке. Женщины в то время были легкомысленны...» и т.д.

С грустью заимствую интонацию этих фраз: «Была на свете когда-то такая замечательная страна, которая называлась Советский Союз. Это было в двадцатом веке. В ту полузабытую прекрасную пору жители исчезнувшей ныне страны читали книги и слушали красивую музыку...»

Сегодня невозможно поверить, но жители той страны действительно читали книги и слушали классическую музыку. Затем начались перемены. Задолго до непродуманных перемен умный Тютчев писал своему недалекому государю: «Всякое ослабление умственной деятельности в государстве неизбежно влечет за собой усиление материальных наклонностей и гнусно-эгоистических инстинктов». Пронесшееся тридцатилетие подтвердило справедливость его слов.

Но в начале 70-х, когда «Дата Туташхиа» увидел свет, мы действительно были самой читающей страной в мире, а эта книга — одной из самых читаемых книг в стране. Чабуа Амирэджиби сумел создать произведение неограниченного диапазона, равно

увлекающее незрелых подростков и умудренных жизнью интеллектуалов. В поезде, несущемся через долины Картли, я видел пятилетних мальчишек, увлеченно игравших в Дату Туташхиа: пейзаж, бегущий за окнами вагона, служил им декорацией.

Критики называли «Дата Туташхиа» лучшим романом, созданным в Советском Союзе на исходе XX века. Словно предчувствуя близящийся разлом страны, критика задалась целью подвести итоги и перечислила литературные достижения последних лет. Ими были признаны рассказы Казакова, повесть Носова «Усвятские шлемоносцы» и роман Амирэджиби. Но вот маленькое дополнение к справедливому суждению: «Дата Туташхиа» написан по-грузински, он добротно переведен и авторизован, но за гранью восприятия иноязычного читателя остались достоинства текста, недоступные переводу. Дело в том, что повествование в романе строится как цепь рассказов о главном герое, и рассказчики, представители разных областей Грузии, говорят на своих диалектах: колоритнейшая лексика, своеобычная интонация и идиомы — все это усиливает эмоциональность повествования, придает ему дополнительную убедительность, однако доступно только в подлиннике. Каков же подлинник, если, лишенный такой яркой краски, он восхитил весь мир!

Много лет назад я написал в «Вопросах литературы»: «Дата Туташхиа пустился на поиски истины и справедливости по тому же пути, где далеко впереди маячит плащ доктора Фауста и цокают копыта Росинанта». С годами я укрепился в своем мнении: книга Амирэджиби из этого ряда.

Не удивительно, что кинематографисты заинтересовались ею и оперативно сняли один из первых советских сериалов — «Берега». В целом экранизация не сложилась, но две актерские работы удались превосходно: Отар Мегвинетухуцеси в роли Дата Туташхиа и Юри Ярвет в роли графа Сегеди, породистого европейского аристократа. Первый, с его великолепной фактурой, скрытым темпераментом и безупречной репутацией, оказался живым воплощением благородного разбойника и справедливого Учителя — органичное соединение Робин Гуда с Франциском Ассизским; второй — все еще был пропитан нравственным максимализмом шекспировского Лира, воплощенным незадолго до графа Сегеди.

Удивительно — за камерой, отснявшей «Берега», стоял еще один абориген нашего двора Лёва (Леван) Намталашвили (в титрах фильма — Намгалашвили). Много лет загадочного обитателя второго этажа не было ни видно, ни слышно. Поговаривали, что таинственный Лёва выполнял спецзадание в экзотических странах — Камбодже, Индонезии, Таиланде. Но со временем ему приелись рис, соевый соус и морепродукты, он вернулся на родину и экстерном сделался кинооператором (возможно, ему помог предшествующий опыт). Тут подоспели съемки «Берегов», и на студии решили, что лучше других с работой справится абориген легендарного двора, сосед автора романа и самого графа Сегеди.

У Лёвы был младший брат Гаврик, мой сверстник и товарищ по играм (сегодня один из лучших грузинских журналистов, специализирующийся на экономике). Жаль, что он не попался на глаза художнику Иванову в пору работы над знаменитым «Явлением Христа народу»; такая находка обогатила бы передний план картины — групповой портрет иудейского племени. Старший брат Лёва тоже сгодился бы в натурщики, но в нем ветхозаветность облика была приглушена, смята как в пробном наброске, тогда как в Гаврике зазвучала в полную силу. Белокожий, конопатый, пучеглазый, с надменно выпученной челюстью и огненно-рыжей копной на голове. Рассказывая о полукриминальном столкновении с милицией, Гаврик как-то обронил: «Ты же понимаешь, что меня невозможно не запомнить...» Еще бы: таких рыжих на пяти континентах от силы пятеро. Не уверен, что живописец академической школы, каким был Александр Иванов, сумел бы воспроизвести цвет такой интенсивности:

осина осенью, пожар в ночи! Такой цвет мог родиться только на палитре неистового Ван Гога! Но зачем горячиться задним числом: все равно художник и натура разминулись во времени...

«...Если эти строки читает тот малыш, которого мы с твоим братом катали-качали в плетеной коляске на громадных железных колесах — наподобие той, которая скакала по лестнице знаменитого фильма Эйзенштейна, и было это, если не ошибаюсь, где-то в 1940 году в Тбилиси на Энгельса, 39, значит, мое письмо нашло адресата».

Письмо нашло-таки адресата: будучи в Тбилиси, я случайно обнаружил его в ящике корреспонденции в приемной Союза писателей Грузии. Упоминание плетеной коляски на железных колесах напомнило мне препирательства тетушки Мариам с сыном Леваном над распеленутым младенцем: и тут и там я оказывался бессознательным участником происходящего — этакое *присутствие в небытии.* Зато человека, через сорок лет написавшего письмо мальчику из коляски, я вспомнил сразу и с радостью. Это был Лёва Арутюнов, сосед — ближе некуда, его отделяла от нас тонкая стенка, из-за которой слышалось глуховатое покашливание Лёвы и юношеский басок, мягко отругивающийся от тетушек, хлопотавших об его усиленном питании, деле безнадежным в послевоенном Тбилиси.

Лёва с братьями и сестрой осиротели в начале войны, когда на Сухуми было сброшено несколько бомб. К этому времени в легких у Лёвы уже был обнаружен «очаг» и начался «процесс». Я слышал эти загадочные слова от его тетушек — наших соседок. Со слезами и отчаянием в голосе они повторяли их, делясь с мамой своими тревогами. В конце концов тетушки — тихая Аничка с очками на носу и шумная Наташа с «Беломором» в зубах — забрали к себе обожаемого племянника и вступили в рукопашную со страшной болезнью. Это было схваткой на последнем рубеже: две женщины, сестры нелепо погибшего старшего брата, махнули рукой на свои желания и порывы и бросили все на борьбу с невидимым врагом, проявляющимся только на рентгеновских снимках. Они победили. Молодой человек, которого я увидел в первые послевоенные годы, производил впечатление холеного, а не болезненного. Статный, гладко выбритый красавец в светлом костюме и рубашке апаш, он сидел в окружении многочисленной родни и с благодушной снисходительностью отвечал на сыплющиеся отовсюду вопросы. У него был все тот же юношеский басок, который я слышал за стеной.

Лёва с блеском окончил школу, где на равных соперничал с самим Рэмом Плешковым, и без экзаменов поступил в МГУ. И там, на Моховой, под сенью тополей Александровского сада разыгрался красивый и нежный студенческий роман, чуть горчащий от воспоминаний о преодоленной болезни. О студенческом романе в Тбилиси узнавали от тетушек, Анички и Наташи. Конечно, Лёва изредка писал им открытки и письма, но главное они додумывали сами, утоляя в мечтах пылкую привязанность к племяннику и собственную угасающую женственность. Их воображение пестовало его блестящее будущее и хоронило свои несбывшиеся надежды.

Всяк, кто бывал в университете на Моховой, знает — историческое здание пахнет кислыми щами, а липы Александровского сада чреваты аллергией, но порыв двух сестер, двух старых дев так увлекал слушательниц, что они тоже волновались, слушая романтическую повесть, украшенную волшебными московскими топонимами — Страстной бульвар, Охотный ряд, Никитские ворота, Балчуг... Первой из слушательниц обычно оказывалась моя мама, ближайшая соседка и чуткая слушательница.

Тетушки долго не могли представить ровню своему Лёве, но в конце концов даже они признали, что избранница ему под стать: юна, прелестна, умна, к тому же дочь знаменитого художника, да еще из старинного рода Бажбеук-Меликовых. Перечень достоинств венчало необычное имя — Лавиния. Надо же: ее так звали — Лавиния!

(Спасибо Окуджаве за то, что героиня «Путешествия дилетантов» не нарушила очарования этого имени.)

К тому времени, когда мы с Лёвой возобновили знакомство (обычно мы съезжались на каникулы в писательскую Малеевку), его знаменитого тестя уже не было в живых. Лёва просил меня, бывая в Тбилиси, заглядывать в комиссионки в поисках неизвестного Бажбеук-Меликова. Мне не везло, работы Мастера я видел только в репродукциях, но этого хватило с избытком: небольшие, темные по колориту полотна завораживали красотой и чувственностью. На синевато-лиловом фоне с багряными отсветами чистым золотом вспыхивали обнаженные женские тела. Небольшие, как аквариумные рыбки, фигурки стаффажа были на удивление пластичны — не мазок маслом, а легкий летящий рисунок. Казалось, художник иллюстрирует пушкинское «Путешествие в Арзрум», главу о тифлисских банях, и не в силах прервать это упоительное занятие. Не меньше утонченного мастерства удивляли его упрямство и независимость; ведь эту нежную чувственную красоту, родственную старым мастерам, Дега и Ренуару, он создавал в хмурую пору соцреализма.

Последний раз мы с Лёвой встретились на Поварской, через дорогу от его института, возле резиденции немецкого посла. Я очень обрадовался неожиданной встрече и по привычке потянулся к нему обнять и расцеловать: наш общий дом под скалистым кряжем, узкое небо над сумрачным двором, который, кстати сказать, Лёва вспоминать не любил, и общее ремесло по-родственному сблизили нас. Но Лёва как-то неловко устранился, отвернул лицо, я ткнулся в его выбритую щеку, влажную от холодного пота, и увидел его уклоняющийся взгляд, виноватый и вопрошающий. Тревога и жалость кольнули меня в сердце: я словно услышал глухое покашливание за стеной и взволнованные голоса тетушек — Анечки и Наташи.

Старая болезнь взорвалась, как мина. Через два месяца его не стало.

Лавиния! От этого имени веяло Средиземноморьем — Равенной, Римом, Неаполем...

В нашем дворе тоже звучало женское имя, не менее выразительное, но в высшей степени грузинское — Кети Джакели.

Русское написание не передает его звучания: начальные согласные — К и Т — смягчены и наполнены воздухом, они как бы с нежностью выдыхаются. Сложней с фамилией — Джакели. Первый звук (в лингвистике называемый дифтонгом) доступен негрузинской артикуляции, надо только поплотней слить Д с Ж. Трудность возникает дальше и, боюсь, непреодолимая. Речевой аппарат с младенчества приспосабливается к родной речи; в русском нет ничего похожего на звук, произносимый после открытого безударного А. Отдаленно он родственен обычному К, но рождается в гортани гораздо глубже, коротким и неполным смыканием глотки с небом, и похож на клекот. Это резкое и гортанное К торчит в фамилии ДжаКели, как руины замка на вершине горы.

Однако пуще трудной фонетики фамилия обременена историей. Джакели – правители Южной Грузии, владетели обширных областей: Месхети, Тао, Кларджети. После падения Константинополя эта часть Грузии надолго подпала под Турцию, и Джакели веками лавировали между беспомощными грузинскими царями и султаном Блистательной Порты. В результате в историографии сложилась двойственная репутация, возник двойной портрет знатного рода: кичливы, коварны, жестоки и при этом отважны, упрямы, щедры.

Вот принцессу каких кровей занесло в дом под скалистым кряжем, в наш сумрачный двор, мощеный речным булыжником и кишащий крысами.

В ту пору я не знал родословной нашей принцессы, но, вспоминая, вижу, что правильнее было бы назвать ее не принцессой, а молодой королевой, столько в ней было достоинства и скрытой непререкаемой власти. Туго-натуго убранные волосы без утайки являли лицо матовой белизны и чистой, без изъяна, красоты. Ни оттенка

гламурности, ни намека на альковную встрепанность. Мраморный лоб, чуть анемичные щеки, высокие дуги бровей и тяжеловатые веки. Походка чувственно-целомудренная: не манок, а тайна.

Я, не дыша, смотрел на нее и сгорал от стыда, когда она пересекала двор в направлении каморки дворника Симона, рядом с которой находилась уборная, примитивное отхожее место, грязный азиатский толчок. Несовершенство жизни оскорбляло. У Кети Джакели был муж, ученый, лысеющий и полнеющий Арчил Дзидзигури (она оставила девичью фамилию), была свекровь, строгая и басовитая, как вышедшая в тираж трагическая актриса. А вот дочку, мою ровесницу, благодаря которой я иногда оказывался вблизи молодой королевы, начисто вымыло из памяти. Настолько бесследно, что впору задаться вопросом: а была ли девочка? Была. В одну из первых послевоенных весен мы с ней пасли на нашем кряже неподалеку от дома белого пасхального ягненка. Ягненка помню, помню шелковый бант у него на шее, такой же пунцовый, как маки в густой траве, а девочки как не бывало.

Капризы памяти не поддаются разгадке.

В грузинской иерархии Джакели стояли выше Амирэджиби, но у создателя «Даты Туташхиа» оказался серьезный козырь: Чабук говорил мне, что в летописном своде «Житие Картли» есть эпизод, в котором его предок по имени *Куцна* преследует в битве самого Джелал ад-Дина: только резвостью коня спасся жестокий разоритель Тбилиси. А еще — Чабук знал сорок пять колен своих предков. Не уверен, что Кети могла похвастаться родословной, так далеко уходящей в тысячелетия.

Кроме Джакели и Амирэджиби в нашем доме проживала дама из рода Багратиони. О ней не знаю ничего, кроме того, что она появлялась сезонно, вселялась в комнату с зарешеченным окном под самой крышей и через два-три месяца покидала нас. Ее экипировка соответствовала сезону: в расклешенном пальто из черного каракуля и такой же каракулевой шляпе, строгая и необщительная, ни с кем не здороваясь, дама пересекала двор и по железной лестнице, откликающейся на ее грубо подбитые башмаки, поднималась наверх, мимо курносых Робакидзе, мимо Симплицких с их доберманами, мимо маминой приятельницы Ольги Николаевны с ее скромным антикварiатом...

Не слишком ли много родовитых фамилий для одного дома? Если присовокупить к ним армянскую княжну Мелик-Сетову, столбовых дворян Рухадзе, Дзидзигури и Асатиани, а на поверку и курносые Робакидзе могли оказаться потомками *Ирубакидзе,* верных сподвижников несгибаемого царя Теймураза...

Наш дом кишел аристократами. Аристократами и крысами. Никакого сарказма. Ни нотки классового торжества. Я преисполнен сострадания к развенчанным носителям титулов и голубой крови. Утешит ли их то, что крыс хватало и в королевских замках: вспомним убийство Полония в Эльсиноре. Поверженные аристократы вызывают у меня сочувствие и жалость. Но крысы... У меня нет слов, чтобы выразить отвращение к этим тварям. Не отвращение, а смесь ужаса с омерзением. Крысы — моя неисцелимая, пожизненная фобия. Ее взрастил сумрачный двор, замощенный речным булыжником. Крысы шмыгали по нему, никогда не выбегая на середину двора. Они пробирались вдоль стен к мусорному ящику, сколоченному дворником Симоном. Случалось, крысы падали сверху, с выступов и карнизов, шмякались оземь и, невероятно живучие, через мгновение вскакивали и, волоча по камням голые хвосты, исчезали в темном подвале...

В том, что Лёва Арутюнов, мой милый сосед и друг, не любил вспоминать наш двор, я виню крыс. А моя влюбленность в дом на горе объясняется не только красотой веранды и окрестностей, но и тем, что за всю жизнь я не видел там ни одной крысы.

Польский дедушка

Минул год, и я освоился в городе. Оклемался и даже отвязался. Вместо земляничной поляны с бабочками, божьими коровками и гусеницами, обсыпанными бирюзовой крошкой, я оказался в сумрачном дворе, по которому шмыгали крысы; вместо радостной птичьей разноголосицы слушал сиплых старьевщиков и лудильщиков, а преданного Рекса сменили чуждые, надменные доберманы и шелудивый Вольф. В результате желторотый птенец, завезенный некогда в дом на горе, превратился в гадкого утенка, славный малыш — в озорного шалопая. Я выкидывал фортели, которых по сей день не могу объяснить.

Два раза в год к нам из Гянджи (тогда Кировобада) приезжал польский дедушка Константин Георгиевич. Уроженец Кутаиси, где издавна прижилась колония ссыльных поляков, он продвигался по таможенной службе с юга на север, от Карса и Эрзерума на Мурманск и Архангельск, а в двадцатые годы, дабы не дразнить судьбу, незаметно осел в Гяндже, на родине Низами, дремлющей в азиатской нирване, с виноградниками под окнами домов, с буйволами в измельчавшей речушке и с арыками во дворах и вдоль улиц. Старшую половину потомства деду пришлось оставить на севере, младшую он закрепил на Кавказе.

Я любил польского дедушку. В его коренастой фигуре чувствовались надежность и сила: шевиотовая гимнастерка, облегающая крепкие плечи, галифе в начищенных сапогах, твердая поступь на кривоватых ногах; а чуть согнутые в локтях руки придавали ему вид борца, выходящего на ковер. Судя по фотографиям, в молодости дед щеголял холеными усами; я знал его только бритым наголо: на круглой, как ядро, голове кустились темные брови и сверкали крепкие молодые зубы. Но больше всего я любил его запах. Дед всю жизнь курил трубку, собственноручно готовя для нее табак: подогревал на спиртовке липовый мед и над его парами выдерживал рассыпанный на бумаге «Кепстен». В этом был секрет мягкого и мужественного запаха, который исходил не только от его наголо бритой головы, но и от всех носильных вещей, включая носки.

Вот какой дедушка приезжал из Гянджи. И вот что я учудил по мальчишеской дури.

При гостевании дедушки мамина приятельница Ольга Николаевна Асатиани чаще нисходила к нам с третьего этажа: посидеть за чашкой чая, повспоминать былое, послушать русскую речь с едва уловимыми польскими модуляциями. Особенно Ольга Николаевна любила рассказы дедушки о Первой мировой войне, о боевых действиях на турецком фронте, в которых в качестве военного врача участвовал ее незабвенный супруг. Приятный тет-а-тет, скромный журфикс, сказал бы я, чтобы подчеркнуть его стиль и старомодность. Особенно скромным было угощение: жидкий чай, американские солдатские галеты, наколотый щипцами сахар. Иногда Ольга Николаевна приносила мармелад домашнего приготовления или варенье. Вазочки, в которых помещались ее приношения, казались на столе инородными, им соответствовал только запах дедушки и манеры его гостьи. Обычно старики располагались за обеденным столом, а я перед ними на застеленной паласом кушетке.

В тот раз свою чашку чая я уже выпил, сгрыз пару безвкусных галет и перебрался на кушетку. Откинувшись на мутаки (продолговатые подушки), я полулежал, поглядывая на беседующих. Судя по всему, дед рассказывал что-то интересное: Ольга Николаевна слушала, слегка подавшись вперед, приоткрыв рот и едва дыша, — она была туговата на ухо. От нечего делать я полез в карман штанов и нащупал там знакомую дырку. На этот раз она заинтересовала меня, и я продвинулся через прореху к гульфику, который оказался туго застегнут. Но это уже не могло меня остановить. Поглядывая на

увлеченных беседой деда и гостью, я — черт бы меня побрал! — протиснул палец между пуговицами и выставил наружу.

Поначалу никто ничего не заметил, ни дедушка, увлеченный рассказом, ни его внимательная слушательница. Но вот дедушка скользнул по мне взглядом и как бы споткнулся. Взгляд его вернулся назад: так корректор возвращается к чудовищной опечатке на первой полосе. Его густые брови взлетели на лоб, бритая голова взмокла. Он покосился на гостью и перевел дух: дама ничего не замечала. А я, посмеиваясь, двигал палец из стороны в сторону и даже приподнимал хоботком. Это не могло продолжаться долго. Дед сделал страшные глаза и так завращал ими, что я услышал скрежет зрачков. «Тю, черт! — чертыхнулся он. — Что же ты делаешь, мерзавец! Убери! Сейчас же убери!» В ответ я только хитро улыбался.

Ольга Николаевна была воспитана в пансионе благородных девиц. Она не заметила ни моей дурацкой выходки, ни смущения своего кавалера, только поспешней обычного завершила визит, закруглила журфикс, испорченный малолетним придурком.

Дед тоже обошелся без брани и нотаций. Он просто залепил мне затрещину, от которой изо рта чуть не вылетели неокрепшие зубы, и процедил по-польски: «Пся крев!..»

Тётя Оля

Другая моя выходка оказалась похлеще этой. И необъяснимей. И тоже была связана с Ольгой Николаевной.

Дверь ее квартиры закрывала раздвижная стальная решетка, запиравшаяся на висячий замок в виде грецкого ореха; сооружение было прочное и вместе с тем изящное, как бы предваряющее содержимое квартиры: Ольга Николаевна считалась богатой вдовой.

И вот однажды на стене возле решетки появилась зловещая надпись, гласящая, что хозяйка квартиры за этой дверью богата и туга на ухо, и ее легко ограбить. Точного текста не помню, хотя в нем было всего шесть или семь слов. Сообщение было написано поверх осыпающейся штукатурки, накарябано так коряво, словно злоумышленник сбивал с толку будущих следаков и графологов.

Перепуганная Ольга Николаевна прибежала к маме. Мама поднялась к ней наверх. Удостоверившись в надписи, попыталась успокоить приятельницу: если бы грабитель что-то злоумышлял, он не стал бы оповещать весь дом. С этим трудно было не согласиться, но перепуганное сознание Ольги Николаевны подсказывало только криминальные версии. Особое подозрение вызывала у нее соседка снизу, курносая баба Шура: «Никто, кроме Шуры, не знает, что я плохо слышу!..» — твердила тетя Оля. И ни ей, ни маме не приходило в голову, что гнусность на стене написал я, их Сашенька, мамина гордость и нежная привязанность бездетной вдовы. Такое заведомо исключалось. Не рассматривалось. Отсутствовало. Тем подлей в моих глазах выглядит самый постыдный и непонятный поступок моей жизни. Не скажу, что все последующие годы я обдумывал его, но никогда не забывал.

С тетей Олей связана еще одна история, случившаяся после возвращения из деревни.

У нее на антресолях обнаружился мешочек кукурузы, завезенный родственником в военные годы; неподалеку от нас в те же годы наладили кустарную мельницу. Тетя Оля решила помолоть на мельнице кукурузу и на подмогу позвала меня.

Мучимый чувством вины, я с готовностью откликнулся.

В памяти отчетливо запечатлелся тот день, тихий и серый, в точности как на деревенском проселке, где нас с бабушкой облаял басовитый пес. Редкие машины взвихривали опавшие листья, они грудились по обе стороны мостовой и пружинили под

ногами. Тетя Оля, поотстав, плелась за мной и безумолку корила себя за бессердечность, я же изо всех сил старался поддержать репутацию крепыша, складывавшуюся во дворе (разумеется, с учетом возраста и весовой категории). Тем не менее, приходилось останавливаться, чтобы перевести дух. Тетя Оля тут же нагоняла меня и уговаривала не мучиться больше, бросить мешок, она попросит кого-нибудь из прохожих или наймет за деньги... Я не отвечал и, отдышавшись, пер дальше. Так мы двигались по Коджорской улице, в конце которой была обещана мельница. Улочка, заваленная опавшей листвой, забирала в гору. Слева, между домами, проступали уступы скалистого кряжа. С каждым домом улица тесней сближалась с кряжем и, наконец, слилась с ним. Дальше шли серьезные предгорья. (Через много лет основатель «Грузинской мечты», олигарх и филантроп, возведет здесь свою резиденцию.) А по другую сторону улочки, в распадке, открылось небольшое плато — то ли пустырь, то ли разоренный сад, и на его обочине небольшое каменное сооружение с тусклой лампочкой над входом. Из распахнутого входа тянуло запахом кукурузной муки, пресным духом размолотого кукурузного нутра, знакомого мне с деревенской поры.

Мельник в кахетинской шапчонке лопаточкой подгребал муку и поглядывал выжидающе.

Тетя Оля заговорила с ним по-грузински. Я настолько не ожидал этого, что не сразу ее понял.

— Мой хороший, — ласково обратилась она. — Сколько времени вам нужно, чтобы управиться с нашей кукурузой?

Старик глянул на мешочек у моих ног и с оттенком пренебрежения спросил:

— Это что ли?

— Да, это! — ответила тетя Оля и положила руку мне на плечо.

Старик внимательно осмотрел нас и неожиданно улыбнулся.

— Раз уж вы такие нетерпеливые, не стану томить. Как опростается, — он постучал лопаточкой по фанерному бункеру, — так сразу...

Мы вышли и на краю плато присели на большой плоский камень. Поодаль выступал из травы такой же, а возле него темнела лежащая ничком фигура ангела с отбитым крылом. Заметив мое удивление, тетя Оля объяснила, что раньше здесь было католическое кладбище.

...Пасмурный день понемногу смеркался. Мы сидели на камне под горой, и Ольга Николаевна рассказывала о грузинских католиках. Мельник ли тому виной или крестьянский дух размолотой кукурузы — она все рассказывала по-грузински: о хевсурах-крестоносцах, о миссионерах Ватикана и о Сулхане Орбелиани, исколесившем пол-Европы в поисках политического союзника; ради успеха старец принял католичество, но увы... Упокоился он не на родине, под Святой горой, а в заметенной снегами Москве...

В довершение она сказала, что мой дедушка с душистой трубкой тоже католик — потомок поляков, сосланных к нам после очередного восстания...

Путь домой оказался гораздо короче. С мешком за спиной я шагал под гору и воображал себя крестоносцем из хевсурской дружины.

В тот же вечер я соскреб надпись у двери Ольги Николаевны.

Хотел повиниться, но не хватило духа.

Сад «Стела»

Я был в том возрасте, когда запреты действовали на меня безоговорочно — и в деревне, и в городе после возвращения: «Туда нельзя, Сашенька! Там улица, машины!..» Редкие выходы за пределы двора запомнились, как запомнились заброшенное католическое кладбище и маленькая мельница. Случалось вместе с соседскими

мальчишками лазать по кручам нашего кряжа, упирающегося во дворы на противоположной стороне улицы. Однако чаще мы ходили в «Стелу», сад, расположенный не дальше мельницы, но в противоположной стороне, там, где начинался квартал больших правительственных зданий, охраняемых милицией.

Оазис в тесноте города, вычлененный умелым ландшафтным дизайнером. Каким-то чудом он уместил на неполном гектаре целый зеленый мир! Это тем удивительней, что чуть ли не треть сада занимал летний кинотеатр. Просторный и легкий — в сущности, деревянный каркас с брезентовыми стенами — он походил на причал парусников, особенно в ветреную погоду, когда стены раздувались и хлопали, а деревянный каркас поскрипывал.

Днем «Стела» дремала, погруженная в зной, изредка пробуждаясь от треньканья велосипедных звоночков. Свежеполитые дорожки высыхали, и рыжий запах толченого кирпича сменялся ароматом жасмина, сирени и роз. Небритые старички подремывали над газетами, кургузые старушки в черном вязали, поглядывая поверх очков на внучат, а те раскатывали на трехколесных велосипедах или толпились у бассейна с красными рыбками.

Иной представала «Стела» вечером. Яркий свет лампионов заливал главную аллею, чугунные скамьи вдоль аллеи занимала принаряженная публика. Кому не хватило места, чинно прогуливались, раскланиваясь налево и направо. Кто-то удалялся в глубь сада, откуда слышались приглушенный шепот и смех. Вечерняя «Стела» полнилась запахами и звуками. Из ветреного кинозала доносились то куплеты Чарли Чаплина, прерываемые взрывами хохота: «Я усики не брею, большой живот имею»; то мужественный тенор шерифа, ловко сидящего в седле: «Цветок душистых прерий, твой смех нежней свирели»; то звонкий цокот копыт и жизнерадостные рулады красивой женщины, размахивающей в коляске широкополой шляпой — все это, перебиваемое пальбой и смехом, неслось из кинотеатра. А из глубины сада, с эстрады под грибком, навстречу плыли звуки джаза: небольшой оркестр, парни, избежавшие призыва на фронт, с упоением играли трофейные шлягеры, привезенные из Берлина. Время было победное, послевоенное, и в городском саду в центре Тбилиси печальную «Лили Марлен» забивала разбитная «Розамунда», а их обеих галантно теснил Глен Миллер с его стильным попурри из «Серенады Солнечной долины». И только «Синий платочек» и «Ночь коротка», исполняемые напоследок, возвращали нас домой, к бедной, чистой, серьезной жизни.

Неужели я *так* чувствовал тогда, в свои семь-восемь лет?!
Не знаю. Не думаю.
Но так мне запомнилось.

Театр

Еще необычней вышло с театром.

Несколько раз мама водила нас с братом в ТЮЗ, и могу побожиться, что, едва переступив порог зрительного зала, я угадал тайну этого места, понял, что ступил в пространство игры и иллюзии, не просто дозволенного, а желанного, вожделенного обмана. Разумеется, тогда я не мог сформулировать свои ощущения, но они были именно такие. Более того, я угадал то, о чем прочитал много позже у кого-то из поэтов, отравленных воздухом кулис: «Мы целовались там, где негде сплюнуть,/ Где нечем жить — мы жизнию клялись». Мои слова не значат, что я проникся к театру неприязнью, или, упаси бог, презрением. Напротив — душа ребенка дрогнула от предвкушения сладостного обмана, от готовности уверовать в иллюзию.

Профессионал называет театр местом преображения жизни через игру. Я добавил бы, что преображение совершается ради достижения высоты или постижения глубины — что, в сущности, одно и то же. Иначе зачем преображать жизнь? За свои

восемьдесят лет я видел немало превосходных спектаклей, но достигших *преображения* раз-два, и обчелся. Лучшие, увы, канули в вечность, вознеслись, оставив нам пятиминутные фрагменты на слепнущей пленке: это качаловский Барон и царь Фёдор Иоанович Москвина. Слава богу, хоть Фома Опискин, воплощенный Грибовым, уцелел весь, от первого до последнего слова.

(Кажется, во мне умер нереализованный театровед, а ведь я всего-навсего вспоминаю первую встречу с театром.)

Зрительный зал, в который я вошел маленьким мальчиком, источал не только тайну, но и запах. Попробую передать его с помощью классической прозы. Описывая в «Казаках» своего деда Ерошку, Толстой пишет, что от старика исходил «сильный, не неприятный запах». Вот писатель! Кажется, трудно выразиться невнятней и неопределенней, на самом же деле точнее не скажешь. Запах ТЮЗа тоже был «сильный, не неприятный»; разница в том, что в кавказской повести он исходил от старика-охотника, пьяницы и бродяги, а в зрительном зале от оравы возбужденных подростков.

Из всего виденного тогда память сохранила три маленьких фрагмента.

Мы в ложе второго яруса, почти над сценой. Под нами, в опасной близости топчется толстопузый потный людоед, окруженный стражниками в остроносых башмаках и няньками в мятых чепцах. Он бьет их, пинает ногами и капризным голосом требует: «Где Сюзанна? Я хочу съесть Сюзанну! Не прячьте от меня Сюзанну, я все равно найду ее и съем!..» Обжора жадно и слышно принюхивается, захлебывается слюной, иногда его налитый кровью взгляд блуждает по залу и обращается к нам. Я с замиранием сердца кошусь назад, где за моей спиной сидит мама. К моему удивлению она улыбается, хотя ее имя Сюзанна. Она улыбается и дует мне на темя.

Судя по пережитому страху — знобкому, детски-беспомощному, сказку про людоеда я видел еще до деревни, несмышленым малышом.

В другой сказке царевна Несмеяна, вздорная и красивая какой-то болезненной красотой, отказала женихам, съехавшимся из разных стран. Среди них был отвергнут и арабский принц. Помню, как он стремительно прошелся по сцене, оглядывая себя и как бы недоумевая: как можно отказать такому молодцу! Араб и впрямь был хорош: стройный, статный, в белоснежной чалме и белых одеждах, с легкой накидкой, развевающейся за плечами, — воплощение мужества! Не исключено, что в этом впечатлении коренится мое раннее увлечение спортом и слабость к капризным женщинам.

А вот на «Сыне полка» я сломался. Можно сказать, опозорился и чуть не сорвал спектакль.

Это случилось, когда из-за кулис солдаты вынесли на плащ-палатке убитого капитана Енакиева и положили на землю. Зрители недоуменно переглядывались и растерянно улыбались, брат недовольно бубнил: «Заткнись, дурень!» — мама утешала, как могла: «Не плачь, Сашенька! Его не убили. Это театр, здесь все понарошку, вот увидишь...» Но я был безутешен. «Убили! Убили! — ревел я в голос. — Сам видел, что убили! Какого хорошего человека убили!..» Я действительно видел, как вздрагивала от выстрелов и откатывалась маленькая зеленая пушка в глубине сцены.

Предполагаю, что убедительности пальбы добивался не кто иной, как Георгий Александрович Товстоногов, пузатого людоеда изображал прирожденный эксцентрик Евгений Лебедев, а на плащ-палатке, сложив руки на груди, лежал Павел Луспекаев — в ту пору все трое служили в тбилисском ТЮЗе.

С годами страхи и слезы, пережитые в ТЮЗовском зале, повыцвели, опресли. Их сменили тематические культпоходы с последующими диспутами о Чацком, Кабанихе и Темном царстве, пубертатные истерики семиклассниц: «Иноземцев — душка, Урусов — лягушка!», собственный смущенный интерес к балетным пачкам на бедрах кордебалета...

Но душа, в детстве уязвленная театром, была готова к восприятию впечатлений. Самое сильное я испытал на исходе семидесятых в театре Руставели: «Ричард III» Роберта Стуруа с Рамазом Чхиквадзе в главной роли. Вот где преображение жизни через игру совершилось на поразительной высоте! То был триумф театра, и я счастлив, что оказался его свидетелем.

Фуникулер

В студенчестве мне довелось пожить близ нижней станции фуникулера, в пустующей квартире моего друга Отии Иоселиани. Проходя мимо станции, я слышал щебет ласточек и чириканье воробьев под крышей. А заглянув в дверь, видел ангар, залитый желтоватым светом витражей. Вагончик, недвижный в ожидании отправки, с четкостью геометрического прибора показывал угол наклона фуникулера — примерно пятьдесят градусов.

А ночами я слышал сладкоголосых соловьев, и сквозь сон Святая гора превращалась в музыкальную шкатулку, вроде той, что стояла в нашем деревенском доме, только очень большую.

Впоследствии я так часто пользовался фуникулером, что трудно восстановить первое впечатление. И все-таки попытаюсь.

Мы входим в открытый вагончик, разделенный на шесть отсеков, и располагаемся спиной к движению: так посоветовала мама.

Скромно тренькает предупредительный звонок, и одновременно с отправкой в вагончик запрыгивает работник фуникулера. Его появление придает предстоящему подъему оттенок риска.

Движение начинается незаметно — ни рывка, ни толчка; без видимого усилия вагончик трогается вверх. Секунд пять или шесть он выбирается из-под крыши, и сразу становится светло и просторно: это похоже на вдох после долгого нырка. Под вагончиком возникает звук — мягкий рокот колес. По сторонам проплывают молодые ели. Точнее, ели стоят прямо и недвижно, а вагончик движется наискось, под углом пятьдесят градусов. Нижняя станция удаляется и скоро превращается в небольшое строение с жестяной коричневой кровлей и черным отверстием для входа вагона. Город под горой открывается шире, шире, так широко, что захватывает дух. Потом ели исчезают. Под голубой отвесной кручей возникает церковь с колокольней в густой зелени. Тогда я не знал про Пантеон, в ту пору совсем небольшой. Мимо нас движется встречный вагон, мы рассматриваем его пассажиров и машем руками. Выше Пантеона закладывает уши, как в самолете при взлете. Ели опять подступают вплотную, обмахивают вагончик зелеными лапами. Тень горы закрывает солнце, ощутимо холодает, и, плавно замедляясь, вагончик вдвигается в белокаменное строение.

Вместе со всеми спешим на выход, хотя нам некуда спешить. И миновав прозрачный вестибюль, оказываемся на вершине горы.

Окрестные горы, Метехская скала, Сололакский кряж с руинами крепости — все далеко внизу.

«Ты уедешь туда, где узкое небо...»

Неужели тетушка никогда не была здесь?!

Школа

Послевоенный Тбилиси был город небольшой, раза в три меньше нынешнего. Он только нащупывал направление, по которому в дальнейшем станет застраивать неровный окрестный ландшафт. В целом направление застройки диктовала Кура, при всех изгибах русла текущая на восток.

На ее правом берегу, спускаясь к тесному старому городу, утопает в зелени

Сололаки. Удобно спланированный, с солидными доходными домами столетней давности и роскошными особняками армянских богачей, он остается самым фешенебельным районом Тбилиси, по сей день выигрывая конкуренцию у новых застройщиков Ваке и Сабуртало. Ограниченный скалистым кряжем, здесь город силится вползти на склон Святой горы, но, не дотянув до Пантеона, сдается.

В маленьком тихом районе мемориальных досок на стенах домов больше, чем во всем городе, а прохладные подъезды приветствуют входящего латинским SALVE.

Отличается Сололаки и обилием учебных заведений: школ, музыкальных техникумов, художественных училищ, а также важных учреждений культуры, таких как музеи, Союз писателей, Клуб работников искусств, Дом актера... Словом, это своего рода Латинский квартал в «маленьком Париже», каким сознает себя послевоенный Тбилиси.

На нашей улице, полого сбегающей к Куре, насчитывалось целых пять школ — три общеобразовательные и две музыкальные, в их числе уже упоминавшаяся 43-я школа. Список ее знаменитых учеников слишком велик; мне важнее то, что в 43-й учились Рэм Плешков и Лёва Арутюнов.

Школа располагалась в ста шагах от нашего дома на противоположной стороне улицы. Тылом она упиралась в скалистый кряж с руинами крепости в отдалении.

На фронтоне внушительного здания из серого камня по сей день читается сбитая надпись: «Торговое училище Манташева. 1910». Изначально здесь готовили кадры для знаменитого нефтепромышленника, сказочно разбогатевшего на бакинской нефти. На Кавказе и во многих городах Российской империи сохранились дворцы и особняки, связанные с именем этого человека. При Советской власти в них располагались посольства, дома детского творчества, научно-исследовательские институты. Москвичам знаком также замок с башнями напротив гостиницы «Советская», в узорно-чугунные ворота которого вплетен вензель «Л» и «М», расшифровываемый как Леон Манташев. Одноэтажные флигели замка служили конюшней для породистых манташевских лошадок: оттуда по утрам их водили порезвиться на большое беговое поле — ныне Центральный московский ипподром.

Тбилисское училище для своих кадров Манташев возвел с присущей ему основательностью. Парадная дверь циклопических размеров, рассчитанная на зрелых студентов торгового училища, была непосильна для школьников вплоть до восьмого класса. Для нас в глубине здания пробили два боковых входа. Еще один вход, самый дальний и неказистый, изначально служил черным ходом; по каким-то приметам его назначение и аутентичность не вызывали сомнений. Относительно легко с циклопической парадной управлялись только директор школы и учитель физкультуры, до фронтового ранения чемпион Грузии по штанге. В помощь педсоставу, преимущественно женскому, пришлось нанять привратника. В пору моего ученичества им был дядя Аветик, тощий сварливый старик, на трех языках честивший строителей школы за несуразную дверь, изматывающую его силы.

Кто все-таки осиливал ее, оказывался в стеклянной кабине, откуда прозрачный вход вел к лестнице — помпезному маршу из широких базальтовых ступеней и беломраморных перил. После первого марша лестница раздваивалась, мраморные перила сменялись дубовыми, восхождение завершалось актовым залом с тремя окнами под стать циклопической двери.

На площадке второго этажа, словно статуя командора, стоял директор школы (в послевоенные годы им был Шалва Бзикадзе). Это был статный мужчина, несколько склонный к полноте, с крупной наголо бритой головой, всегда тщательно одетый: костюм шоколадного цвета, штиблеты табачного, в зубах темно-вишневая трубка. Вид у нашего директора был внушительный и вместе с тем франтоватый. Строго поглядывая вокруг, он изредка вынимал изо рта трубку и негромко делал замечание, от которого нарушитель порядка обмирал как перепелка. Словом, директор школы вполне соответствовал исходному замыслу Манташева. Со временем на смену ему

придет человек совсем иного склада — Георгий Александрович Корсавели. Своей незаурядностью он отодвинет на второй план достоинства интерьера, вернет ему исходное назначение, то есть превратит в обычное место действия.

Чем еще отличалась школа? Классы просторные, паркет литой, коридоры длинные. Кто-то из старшеклассников умудрялся между уроками тренироваться в спринте — раз за разом проносился по коридору, распугивая малышню и вызывая восхищенные взгляды пятиклашек.

Но при всей архитектурной внушительности и богатстве начинки (вплоть до старинной кунсткамеры) самая необычная достопримечательность нашей школы находилась вне здания, на его задворках. Это была невидимая с улицы стальная труба: черная, из легированной стали, диаметром в двести пятьдесят миллиметров, она соединяла скалистый кряж со школьным двором. Нефтяной магнат не имел к ней касательства. Наша труба появилась в новое время, в пору социалистического переустройства Тбилиси, и призвана была улучшить водоснабжение города. Из трубы слышалось родниковое воркование — ключи окрестных гор спешили в город. Благодаря им легированная сталь не раскалялась даже под лучами тбилисского солнца.

Подарок судьбы — труба каждое утро заряжала нас бодростью. Мы бесстрашно карабкались по уступам до карниза, выступающего из скалы, и, оседлав трубу, съезжали вниз. Редко кому удавалось до конца удержаться верхом. Обычно на середине спуска гладкая, до блеска отполированная сталь перекручивала седока, и дальше скользили, прилипнув к трубе снизу.

Старшеклассники трубой пренебрегали, первоклашки побаивались, остальные же не знали удержа и до начала занятий по пять-шесть раз съезжали с горы во двор.

Но однажды на скале возле нашей трубы появились двое рослых юнцов. Подтянув потертые штаны, они по-хозяйски уселись на траве, закурили и, небрежно пуская струйки дыма, сообщили, что отныне за проезд придется платить. Юнцы проявили не только хватку и наглость, но и знание детской психологии: они попытались придать своей афере характер законности и с этой целью, важно покуривая, сказали, что спуск по трубе может быть оплачен в кредит. Для детей фронтовиков они предусмотрели льготный тариф, а тем, кому нечем заплатить сейчас, разрешили в последний раз съехать бесплатно. «За счет заведения», — осклабился один из них.

Мы молча выслушали юнцов и — наивная поросль советской эпохи — без слов полезли в карманы пересчитывать мелочь. А я так даже обрадовался предоставленной льготе.

Эта история слишком многозначительна, чтобы ограничиться ее пересказом.

Она вспомнилась через много лет, когда случившееся на школьном дворе повторилось в масштабе страны: перед нами, как в кукольном театре, был разыгран сценарий грядущих перемен. Совпало все — от бесцеремонно-наглого захвата трубы до постыдно-кроткого молчания ягнят.

Зверь наживы вернулся с триумфом, сопровождаемый стаей шакалов, и мы молча расступились перед ним.

Случившееся много сказало мне о природе человека, загадало загадки, которые по сей день силюсь разгадать.

Первым поводырем на этой дороге стал Георгий Александрович Корсавели, сменивший послевоенного директора школы. В одну из наших бесед, в середине 90-х, сославшись на неведомого мне философа (им оказался Герберт Спенсер), он сказал: «Нет такой алхимии, которая могла бы переплавить олово инстинктов в золото поступков». Мне запомнился его тон — тон горестного сожаления и исчезающей надежды.